

ШАНДОР ЛЕНАРД

Один день в невидимом доме

[137]

ИЛ 6/2018

Глава из книги “Долина на краю света и другие истории”

Вступление ДЁРДЯ Г. КАРДОША
Перевод с венгерского ЮРИЯ ГУСЕВА

От переводчика

Нечасто бывает, чтобы в каком-то знакомом месте — допустим, в квартале города, в котором ты живешь и который вроде бы знаешь вдоль и поперек, — вдруг обнаружилось настоящее (скажем, архитектурное) сокровище. Ты стараешься почаще проходить мимо него, по пути это или не по пути, постоянно думаешь о нем, восторженно рассказываешь о нем знакомым, уговаривая их обязательно сходить и взглянуть на это чудо...

Так бывает и в литературе. Настоятельно посоветовал мне почитать Шандора Ленарда совсем не официальный и не полномочный представитель венгерской культуры в Москве Петер Шиклош; он же дал мне книгу Ленарда. И за этот совет я ему невероятно благодарен. Ленард — уникальный человек и уникальный, ни на кого не похожий писатель и мыслитель. К тому же пишет он так просто и так увлекательно, что его просто-таки хочется переводить.

Венгры и сами “открыли” для себя Шандора Ленарда в какой-то мере случайно — это немного смягчает мою вину за то, что я его до сих пор не знал. Но теперь вот знаю — и рекомендую всем, кто ценит настоящую литературу и благородство духа.

Подробнее о необыкновенной жизни и личности Шандора Ленарда рассказывает в своем предисловии (оно было предпослано сборнику произведений Ленарда, изданному в Будапеште в 1973 году) венгерский писатель Дёрдь Д. Кардош.

© Magvető 1967
© Юрий Гусев. Перевод, вступление, 2018

Редакция выражает благодарность Джованни Ленарду за любезное разрешение безвозмездно опубликовать на страницах журнала главу из книги Шандора Ленарда “Долина на краю света и другие истории”, а также выражает благодарность Анико Кардош за любезное разрешение опубликовать вступление Дёрдя Г. Кардоша к книге Ш. Ленарда.

ДЁРДЬ Г. КАРДОШ

[138]

ИЛ 6/2018

Человек на краю света

“Перечислить вам — как это принято при знакомстве — мои профессии? Я был поваренком, ходил по домам мерить кровяное давление, состоял врачом при Венгерской академии в Риме, потом побирался, потом в живописных окрестностях Везувия, у подножия виноградного холма Макиавелли, в должности вольнонаемного медслужбы американской армии собирал скелеты из обломков костей... Что еще? За массивными кирпичными стенами Апостольской библиотеки в Ватикане писал на заказ диссертации по искусствоведению, археологии, медицине... Какое-то время в доме директора одного банка играл с ним дуэтом на двух роялях, получая за это ужин, а сердобольная кухарка, которая была куда добрее хозяина, таскала мне картошку из кладовой, чтобы я и на следующий день имел что покушать. Работал переводчиком на первом послевоенном конгрессе собаководов. Были у меня самые разные пациенты: один тюремный надзиратель как-то позвал меня к вору-карманнику, которого мучил ишиас, карманник же после этого стал рекомендовать меня своим коллегам в кругах воров и взломщиков. Еще я лечил вены на ногах епископа, заказывал супинаторы для матери-настоятельницы одного монашеского ордена: глава ордена не проявлял желания сотворить чудо, необходимое для причисления к лику блаженных. Как-то вылечил свинью у посла, аккредитованного при Священном престоле... В Бразилии начинал с того, что был лекарем по всем болезням на свинцовом руднике... Вот вроде и все”.

В этом горько-веселом монологе, интонация которого заставляет вспомнить Фигаро, Ленард по скромности не упомянул лишь, что он при всем том был еще и писателем, писателем великолепным, глубоко гуманным. Он был венгерским писателем, хотя и удручающе короткое время, всего-то пять лет, последние пять лет из прожитых им шестидесяти двух. Слишком поздно мы открыли Ленарда как писателя, хотя имя его и раньше появлялось в новостных рубриках газет: “Живущий в Бразилии врач-венгр перевел на латынь ‘Винни Пуха’...” Или: “Один врач, венгр по происхождению, получил значительную сумму, став победителем конкурса на лучшее исполнение произведений Баха, объявленного телевидением Сан-Паулу”. Слишком поздно мы открыли его для себя как писателя. Первая его венгерская книга “Долина на краю света и другие истории” была

опубликована в 1967 году издательством “Магветё”; критика встретила ее доброжелательно, но немного так, словно это перевод, хотя книгу эту, отчасти автобиографическую, отчасти социографическую, пронизанную некой меланхолической мудростью, Ленард написал по-венгерски, причем написал на великолепном, прозрачном венгерском языке, с характерно венгерскими языковыми оборотами. Правда, сначала он создал ее по-немецки, на великолепном, прозрачном немецком языке; и затем создал в третий раз, по-английски, с характерно английскими языковыми оборотами. Одну и ту же книгу он, таким образом, написал трижды, каждый раз в иной тональности, на различном уровне темперамента, в соответствии с темпераментом, присущим тому или иному языку. И при этом каждый раз менял название книги. По-немецки: “Kuh auf dem Bast”¹ (непереводимая игра слов на немецко-португальском наречии, какое можно услышать в долине Катарина); название английского издания: “Долина латинского медвежонка”.

Впервые внимание к Ленарду, к причудливым перипетиям его жизненного пути помогла привлечь одна, не имеющая к литературе никакого отношения сенсация. В 1968 году, вскоре после появления его первой книги, по страницам мировой прессы пролетела² “информация”: обнаружены следы печально знаменитого врача из лагеря смерти в Освенциме, Менгеле, который якобы живет, под именем Александра Ленарда, в джунглях бразильского штата Санта-Катарина. Дело в том, что поблизости от тех мест проводил отпуск некий немецкий авантюрист по имени Эрдштейн, который услышал, что в долине Донна-Эмма скрывается какой-то богатый немец. Фантазия мошенника принялась работать. Боже мой, он нашел Бормана! Да, но немец этот — врач... Тогда — Менгеле! Полмиллиона марок и мировая известность! Он тут же пустился в путь, но врача немца не застал: Ленард в это время преподавал греческую и латинскую литературу в Чарльстоне — так что Эрдштейн побеседовал лишь с его экономкой. Простодушная сеньора Клейн, ни о чем не подозревая, поведала, что во время войны она служила в Гамбурге, на одном из заводов концерна Германа Геринга. Откуда было ей знать, что на следую-

1. Буквально: “Корова на мочале”. Ленард обыгрывает созвучие португальского “pasto” (пастбище) и немецкого “Bast” (мочало). (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — прим. перев.*)

2. Интересно, что “сенсация” эта нашла отражение и в книге Юлиана Семенова “Кто дерзнет сказать, что солнце лживо”. Правда, Менгеле у Семенова — это не Александр Ленард: Менгеле приезжает к Ленарду, где его и находит Эрдштейн.

щий день ее слова появятся в газете города Куритиба в таком виде: “Любовница военного преступника конструировала снаряды V-1 и V-2 и разрабатывала атомную бомбу в институте Германа Геринга”. Разразилась настоящая буря, бразильские, а затем и европейские желтые газеты вышли с громкими заголовками: “Тайный агент Эрдштейн обнаружил берлогу Менгеле!”, и еще: “Злодей пишет детские книги на латыни”. Бразильская полиция тоже не осталась пассивной. “6 декабря, ночью, отряд из 13 человек, на машинах, с пулеметами, окружил мой дом, — рассказывал позже Ленард, — они собирались схватить меня на рассвете. И схватили бы, не будь я в это время в Чарльстоне. Так что пришлось им опять-таки довольствоваться общением с бедняжкой Клейн, у которой они старались выпытать, как она делала атомную бомбу (она готовит великолепные клецки). Потом они провели в доме обыск, нашли восемь томов Гёте (значит, все-таки немец!), портрет Баха (переодетый Гитлер!) и открытку с таким текстом: “О семенах овощей и цветов позабочусь” (тайное, шифрованное сообщение!). Золота и бриллиантов они так и не нашли. Не нашли даже в курятнике, не нашли даже в дощатой будке, стоящей в тени эвкалипта (а уж там-то, казалось бы...)”.

Шандор Ленард родился в 1910 году в Будапеште; в 1918-м семья переехала в Австрию, диплом врача Шандор получил в Венском университете, после аншлюса, в 1938 году, он бежал в Италию, окончание войны застало его в Риме. В 1951-м эмигрировал в Бразилию. В 1956-м, получив приз на конкурсе исполнителей Баха, организованном телевидением Сан-Паулу, он приобрел крохотный участок земли в долине Донна-Эмма, где позже построил свой невидимый — спрятанный под густыми кронами деревьев — дом.

Первый сборник стихов Ленарда под названием “Orgelbüchlein” (“Органная книжечка”) состоял всего из десяти стихотворений; его иллюстрировал десятью линогравюрами Америго Тот.

Позже Ленард написал для берлинского радио серию передач о языках, на которых в наше время говорят лишь немногие: от языка ботокудов до неолатинского; эти лингвистическо-филологические работы позже были изданы в Германии в книге “Sieben Tage Babylonisch” (“Семь дней по-вавилонски”).

Усовершенствование неолатинского языка занимало Ленарда до конца его жизни; целыми ночами он просиживал в своем невидимом доме над классиками, пытаясь решать нерешаемые задачи: каким должно быть правильное латинское название курительной трубки: infumibulum, infurnibulum

или *infundibulum*? Самолет: *velivolium* или *aerovehiculum*? Радио — *sirmium undisonum* или *radiophonicum instrumentum*. Увы, эпоха требовала найти латинские соответствия и для таких слов, как атомная бомба (*pyrobolum atomicum*) и водородная бомба (*atomicus hydrogeni pyrobulus*).

Когда он перевел на латынь “Винни Пуха”, издатели поначалу наотрез отказывались книгу печатать, ссылаясь на то, что дети не говорят на латыни, а взрослые не читают детские книжки. В конце концов, нашелся предприимчивый американский издатель, и за два года книжка разошлась в количестве четверти миллиона экземпляров, а Литературное приложение к “Таймс” напечатало — на латыни — хвалебный отзыв о книге. Латинский перевод романа Франсуазы Саган “Здравствуй, грусть!” — “*Tristitia Salve*” — был издан одновременно в четырех странах. Ленард перевел на латынь одну из любимых немецких книг нашей молодежи, “Макс и Мориц”¹, которую перед этим другой одержимый неогуманист, некто Штейнль, переложил на древнегреческий. Латинский перевод Ленарда просто восхитителен. Типично немецкой, слегка приземленной сказке укрощенная классика придала прелестные, чуть гротескные крылья.

Quantum est mandatum scriptis
Nebulonum de delictis!
De Mauritio et Maxo
Egomet fabellam faxo!²

“В амбициозной юности своей я мечтал быть похороненным в Риме, по соседству с пирамидой Цестия³, там, где покоятся под земляничным ковром первопроходцы дальних дорог. Сегодня я куда скромнее, мне хватит и папоротника”.

Ленард умер в апреле 1972 года. У его могилы, в саду невидимого дома, траур справляли крестьяне долины Донна Эмма и индейцы-ботокуды из соседней индейской резервации. Их ут-

1. Вильгельм Буш “Макс и Мориц. История мальчиков в семи проделках”. Первое издание. — 1865 г.

2. По всей вероятности, это четверостишие соответствует строкам, которые по-русски были переведены К. Н. Льдовым (1890) таким образом:

Да, сознаться мы должны:
Макс и Мориц — шалуны,
И, чтоб знал про то весь свет,
Здесь приложен их портрет.

3. Оригинальный архитектурный памятник Древнего Рима, пирамида Цестия, был воздвигнут между 18–12 гг. до н. э. по заказу богатого гражданина Рима, члена жреческой коллегии Гая Цестия Эпулона как надгробие над его могилой.

рата была ощутимой и чисто практической: в его лице они потеряли врача, к которому можно было прийти без единого гроша, когда ни заговоры, ни жир анаконды, ни вымоченный в уксусе порох, ни вода, принесенная из родника ровно в полночь девушкой-девственницей, уже не помогали ни от воспаления легких, ни от экземы, ни от больной печени. Думаю, крестьяне штата Санта-Катарина едва ли придавали особое значение тому, что занозу от папоротника вытаскивал у них из ноги или обезвреживал болезненный укус паука выдающийся писатель-гуманист. Но они наверняка искренне радовались, когда он, закончив с приемом больных, — вытащив из уха ребенка застрявшую там фасолину, — играл на органе в местной церкви фуги Баха. А вечером, сидя один в своем невидимом доме, снова занимался “Хорошо темперированным клавиром”. Бах сопровождал его всю жизнь — в скитаниях нередко именно два тома “Хорошо темперированного клавира” и составляли его пожитки, — гармония этой музыки незаметно проникла и в его произведения; подобно тому, как некогда в музыке это делал мастер органа, *Werkmeister*, так и он в своей прозе высчитывал пропорции равномерного темперирования.

Когда все в джунглях затихало, он при огоньке свечи писал неторопливые послания в дальние страны — о том, как писать неолатинские стихи: рифмованными ли или в свободной форме? Иногда письма эти писались по-португальски, чаще по-немецки, по-французски или по-венгерски, иногда по-норвежски, а нередко они начинались звучной латынью: “*Humilis eremita celeberrimo poetae S. P. D...*” — “Скромный отшельник от души приветствует всемирно известного поэта...”. На письма его отвечали странные люди: неолатинские поэты, коллекционеры сигар, матросы и литераторы, которые поставили перед собой цель — перевести “Алису в стране чудес” со своего родного языка обратно на английский или переложить Шекспира на современный разговорный английский язык. Чудаки эти брались за достойные восхищения, но бесполезные вещи: в своих резервациях они пытались обрести твердую опору, цепляясь за мелкие аксессуары живущего в их фантазиях гуманистического мира. (Насколько странной была логика, по которой они жили, лучше всего покажет, может быть, недоуменный вопрос некоего персонажа из “Одного дня в невидимом доме”: как может Ленард жить в Санта-Катарине, где так безжалостно уродуют дивное кастильское наречие? Почему бы ему не купить себе гасиенду в Мексике, где все еще говорят на чистейшем испанском?)

Интригующая и не имеющая решения загадка: что побуждало Ленарда сохранять родной язык, беречь образ родной земли,

когда и язык, и родина жили в нем лишь на периферии памяти. Ведь подумать только: в Венгрии он жил всего-навсего восемь лет, восьмую часть своей жизни. Кроме венгерского, он знал еще двенадцать языков, несколькими из них владел в совершенстве. Он написал семь сборников стихов по-немецки, две медицинские книги — по-итальянски, произведения свои сам переводил на английский. А ведь еще была и латынь! Он читал литературу на тринадцати языках, но когда по болезни уже почти не мог читать, то все равно не проходило дня, чтобы он не взял в руки венгерскую книгу. “Я все-таки должен читать, по крайней мере, по-венгерски... Венгерская речь мне необходима, как хлеб насущный. Без живущего вдали “спутника и искусителя” пропадешь. Венгерский язык — это как музыкальный инструмент: если хочешь играть на нем, должен упражняться каждый божий день. Невозможно думать по-индогермански, а говорить по-венгерски. Геометрия венгерского языка отличается от других языков, как геометрия Бойяи — от евклидовой. На венгерский можно перевести все, с венгерского — почти ничего. Венгерский — и это самое ужасное — можно даже забыть!”

В руки мне попало письмо, которое он написал в день своей смерти. Он уже знал: *una ex illis ultima*. Одна из песчинок, которая упадет, будет последней; он уже добился в неторопливых канцеляриях согласия, что будет похоронен в своем саду. Прежде чем поставить подпись, написал о себе уже в прошедшем времени: “Пока он жил...” Но в коротеньком этом письме, написанном неровным, неуверенным почерком, он посчитал важным упомянуть, что получил из дома два журнала и в одном из них обнаружил статью о Бахе...

Такая трезвая подготовка к смерти — тоже гуманистическое наследие. “*Disce mori*”¹, — цитировал он чей-то трактат “*De arte moriendi*”². Кто заключил мир со смертью, живет спокойно, ибо не нуждается в утешениях, которые может дать ему воображение! Как рыба принимает Океан, прими к сведению и ты: мы живем в Бренности, не только последняя наша минута принадлежит смерти, каждая наша минута — ее песчинка, каждая наша светлая минута — проблеск ее косы”.

Disce mori. Учись умирать. Это всегда означало: *disce vivere*. Учись жить.

“Ибо нет различия между *ars moriendi* и *ars vivendi*”.

1. “Учись умирать” (*лат.*).

2. “Искусство умирать” (*лат.*).

Тонкие, эмоциональные — немного старомодные по своему духу — стихи свои он писал по-немецки; лишь немногие из них появились на венгерском, из продукции последних лет — почти ничего. Однако недавно, копаясь в том, что написано было о Ленарде, в некрологе, напечатанном в одной немецкоязычной газете, выходящей в Сан-Паулу, я наткнулся на такое стихотворение:

Что нам оставят после смерти старики?
 Потертый стул.
 Чернильницу полупустую.
 Рубаху. С линзой треснувшей очки.
 Я — жив пока. Но близок, близок миг...
 “Ах, — скажут, — что за хлам оставил нам старик!”
 И я
 В холодной пустоте небытия
 Вздохну...
 И, думаю, меня
 Согреет мысль одна:
 Свою чернильницу — я исписал до дна.

Это — хорошее место

Предисловие

Когда дом только строился — сколачивался, наподобие деревянного ящика: ножовка, молоток, гвозди, — между ним и проходившей мимо дорогой не было ничего, лишь трава, папоротник, дикие цветы. Полоса земли, шириной шагов триста, просматривалась насквозь. Сосед мой живет немного дальше, и он видел, как вечером, ложась спать, я задуваю свечу, как утром иду к колодцу умыться.

С тех пор минуло пятнадцать лет. Такой срок, по крайней мере для растений в Южной Америке (для арестантов — везде), — время немалое. В краю, где весна лишь на две-три коротких недели перемежается осенью, которая зовется зимой словно в насмешку, воткнутая в землю веточка за пятнадцать лет превратится в развесистый платан. Каталыпа с ее огромными листьями сама по себе может укрыть целый дом. Деревья в джунглях приноровились расти быстро, чтобы сквозь сплошную зеленую массу пробиться к солнечному свету. Даже ореховое дерево из Китая и европейский (то есть персидский) персик научились тут поспешать. Мимоза же способна вымахать здесь в два раза выше, чем на холмах вокруг Рима.

Словом, деревья выросли и закрыли мой дом отовсюду. Ранним утром на него отбрасывают тень эвкалипты у ограды. За домом апельсины и мандарины ветвями уже достают друг друга; появившись у них такое желание, они спокойно могли бы обмениваться плодами. Бамбук, посаженный в болотце возле дороги, превратился в непроницаемую изгородь. С какой стороны и когда бы на мой дом ни смотрели, увидеть его не удастся.

Недавно один мой старейший друг, оказавшись в здешних краях, стал спрашивать, как меня найти.

— Найдете в два счета, — ответил первый же встречный. — Тут он, недалеко живет, в том доме, который не видно.

Люди в наших местах живут друг от друга на почтительном расстоянии и не очень друг другом интересуются. Что у соседа на обед, обедает ли он вообще — его личное дело. Подметать тоже каждый подметает на своем подворье. Правда, это пока дело не касается нравственности.

У трапистов¹ есть правило: никто не должен класть еду из общего блюда в свою миску. За трапезой монах отрезает хлеб не себе, а тому, кто сидит рядом; ему же наливает воды в стакан. Каждый должен думать о том, чтобы его сосед встал из-за стола сытым. Ведь если ты позаботишься о собрате, сидящем справа, то можешь быть спокоен: провидение Божие и собрат, сидящий слева, наполнят и твою миску.

Примерно так же обстоит дело в наших краях: в том, что касается нравственности, то есть объятий и поцелуев, каждый обеспокоен исключительно душевным здоровьем соседа. И каждый весьма огорчился бы, если б сосед его оказался обреченным на вечные муки в аду — потому лишь, что он, ближний, не пекся о нем должным образом. Вот почему жены соседей моих, а также их тещи и бабушки, находясь у себя дома, считают своим святым долгом бдительно следить, кто приходит ко мне. Долго ли остается? Больной ли это? Один ли пришел или с кем-то? Если пришел к вечеру, то ушел ли с наступлением темноты? Если пришел вечером с фонарем, то молод был или стар? (То, что я и сам дедушка, значения не имеет.)

С тех пор как загустели кроны деревьев, вытянулись вверх пышные георгины, в сплошные заросли сплелась спаржа — следить за всем этим стало очень нелегко.

Было, конечно, время, когда любой и каждый днем и ночью мог видеть, где я и что я. Ночью я спал под мостом, днем сидел где-нибудь на тротуаре или бродил по улицам. Днем и

1. Траписты — ответвление цистерцианского ордена; официальное название — Орден цистерцианцев строгого соблюдения.

ночью сопровождало меня Равнодушие (именно так, с большой буквы), и никому, хотя бы в той степени, какую можно обозначить вопросительно поднятой бровью, не было абсолютно никакого дела до моей частной жизни.

Теперь же на меня смотрит не равнодушие, теперь на меня взирает общество. У общества есть права. Оно задает вопросы. Оно проявляет живой интерес. Общество вываливает на стол индивида кучу больших и малых вопросительных знаков. Даже если он ничего не просит, ни на что не претендует, он все равно получает анкету для заполнения, и горе тому, кто собирается пересечь какую-то, видимую или невидимую, границу! Горе тому, кто окружает границей свое бытие! Зачем он это делает? Что он задумал? Чего хочет? Почему молчит?

Мы живем в такие времена, когда, надо думать, даже в статье Свободы есть подслушивающие устройства: они записывают, что говорит человек, который сюда взобрался и смотрит из ее глазниц на окружающий мир.

Вероятно, соседи мои правы. Нечего мне прятаться от общества. Вот почему я сам решил рассказать, чем я занят с утра до вечера, с той минуты, когда выхожу бороться со своими муравьями, и до момента, когда поднимаю глаза, чтобы полюбоваться своими Млечными Путиями. Дни мои подобны друг другу, как подобны друг другу трапписты, одинаково молчаливые, в одинаковых белых хабитах с капюшонами. Их движения, их поступки определяет один и тот же устав; в сандалиях одного и того же фасона шагают они в Царство Небесное.

Таковы и мои дни. Рассказав историю одного, я расскажу обо всех.

1

Попробую описать один мой самый что ни на есть обычный день. Необычных, значительных дней у меня нет. Да и не так чтобы особенно и хотелось. “Жить тебе в интересное время”, – говорят китайцы, когда хотят пожелать ближнему что-то очень уж нехорошее.

Интересные дни в жизни человека вообще случаются редко. Мало таких дней, которые – как, скажем, день женитьбы Фигаро – Моцарт посчитал бы заслуживающими воплощения в музыке. Какой день стал в твоей жизни судьбоносным, все равно ведь выяснится лишь десятилетия спустя. День, когда ты укладываешь в дорожную сумку свой бритвенный прибор, надеваешь лоденное пальто и отправляешься на вокзал, сам по себе не так уж интересен. Не так уж велик и момент, когда сын говорит тебе: “Отец, да ты совсем сбрендил”. Но в такие вот за-

урядные дни жизнь твоя как бы сама собой, незаметно сворачивает на другие рельсы, и тебе открывается некая иная реальность, из которой все предыдущее видится словно сон.

Был писатель, который с особой охотой описывал события далекие, отдаленные по времени. В самом деле, события, процеженные через фильтр памяти, — куда более благодарный для изображения материал. Из того, что ты видел во сне, получится гораздо более интересная книга — а уж тем более стих, — чем из того, что ты наблюдаешь собственными глазами в реальности.

Мое положение существенно отличается от того, в котором находился знаменитый виртуоз воспоминаний Марсель Пруст. Прошлое его было настолько прекрасным или, по крайней мере, настолько заслуживало, чтобы его увековечили на бумаге, что он возвел между собой и современностью довольно плотную ширму и извлекал удивительные истории из своей чернилницы. Но и он вынужден был работать с увеличительным стеклом и кривыми зеркалами, ибо даже ему воскрешенное время доставляло боль. Гёте врал с достоинством: “Из моей жизни. Поэзия и правда” — название книги его мемуаров. Аксель Мунте¹ весело и бессовестно плел небылицы о перипетиях пути, которым он шел к Сан-Микеле.

У меня нет за спиной такого прошлого, которое я, украсив, позолотив, мог бы использовать для романа. Жизнь у меня была убогой, полной несчастий. С другой стороны, в нашем inferнальном столетии я не могу утверждать, что жизнь эту стоило бы увековечить как устрашающий пример. Все-таки я не корчился в невыносимых муках в самом нижнем, почти безлюдном кругу преисподней: я не находился в густонаселенной, созданной с расчетом на многих и многих камере пыток — изобретении “высшей мудрости и добра”, по крайней мере, так написано было на ее вратах по указанию какого-то небесного департамента пропаганды.

Я вообще не верю, что примеры способны кого-нибудь утратить. Ужасы Тридцатилетней войны² были подробно описаны, проиллюстрированы великолепными, вызывающими

1. Аксель Мунте (1857–1949) — шведский врач, писатель. Самая известная его книга — автобиографическая повесть “Легенда о Сан-Микеле” вышла на английском языке в 1929 г. и вскоре стала мировым бестселлером. Переведена более чем на сорок языков. Сан-Микеле — вилла, которую Мунте своими руками построил на острове Капри.

2. Тридцатилетняя война (1618–1648), начавшаяся из-за разногласий католиков и протестантов в Германии, вовлекла в себя многие страны Европы. Потери сторон в этой войне — около 700 тысяч убитых и раненых, не считая огромных жертв среди мирного населения.

ми дрожь офортами — однако следующие войны не стали от этого более человечными. Не было речи и о том, чтобы люди перестали придумывать все новые и новые истязания. Жуткие вопли сажаемых на кол не отвращали преступников от совершения преступлений, судей — от вынесения приговоров, палачей — от подобного способа заработка. Более того, даже у живописцев они не отбивали охоты изображать в городских сценах одного-двух посаженных на кол бедолаг.

Я не могу никому навязывать в качестве примера свою жизнь, ни даже ту ее часть, которая отражается в каждом нынешнем дне. Я могу лишь описать один свой день примерно так, как художник пишет натюрморт.

Устроился я в хорошем месте. У меня просторный дом, сооруженный из массивных досок. Посаженные вокруг дома деревья — здесь, в Пафлагонии¹, где стоит вечная весна, которую прерывают лишь несколько мимолетных дней, напоминающих осень, все растет быстро — окружили его со всех сторон, накрыли своей тенью, так что от бурь пропускают лишь легкое дуновение, от палящего солнца — лишь пучок света величиной с тетрадный листок. Извне сюда не доносятся звуки громче ближнего птичьего свиста или дальнего собачьего лая. Собак вокруг много. Не прошло еще и ста лет с тех времен, когда большинство населения в Пафлагонии составляли рабы. Раб — тоже человек, ему тоже нужен кто-то, кого можно безнаказанно пнуть, он тоже рад, если какая-то жалкая тварь виляет хвостом и лижет ему руку. Вот почему здесь много собак, но эти убогие, тощие и трусливые существа лишь в полнолуние возносятся к небесам свои жалобы. Птицы тоже пока есть, у потомков рабов и сегодня последним средством от голодной смерти остаются обезьяны и птицы. Мудрость дедов продолжает жить в местной кулинарии; все, что еще сохраняется от традиции, булькает сегодня в котле. Птиц спасают иногда суеверия: птица керо-керо² кричит по ночам, и туземец ни за что не съест ее — боится, что получит бессонницу. Птица жоау де барру³ сооружает гнездо из глины и грязи на дереве, в укрытии ветвей. Ее не трогают: те, кто живет в глинобитных хижинах, должны быть солидарны.

1. Вероятно, Ленард имеет в виду Патагонию. Патагония — обширная местность, занимающая часть Аргентины и Чили. Многие связывают это слово с названием древнего региона на территории современной Турции — Пафлагонии. Не очень понятно, почему автор пользуется этим словом.

2. Керо-керо (quero-quero) — бразильское название чибиса (*Vanellus chilensis*).

3. Жоау де барру (jogo de barro) — бразильское название рыжего печника (*Furnarius rufus*).

На крутом холме за моим домом еще сохраняется добрый кусок джунглей. Восемь хольдов¹ их принадлежат мне, это означает, что я могу их спасти. Оттуда прилетают черные птицы, если человек пытается успеть раньше их убрать рис; синие птицы прилетают, когда поспевают апельсины: сладкий сок так и брызжет под ударами их острых клювов. Не только люди, птицы тоже общаются между собой на тайном, непонятном языке.

Я не решился бы сказать, что тишину здесь нарушает разговор деревьев. Из них на знакомом языке говорит один лишь платан. Я вырастил его своими руками — неудивительно, что шелестит он так же, как те платаны, что росли когда-то дома, на родине. Эвкалипты говорят уже совсем на чужом наречии. Когда, ближе к вечеру, ветры с Атлантического океана, принося с собой чаек, наваливаются на сушу, эвкалипты гудят, как виолончели. Араукарии от слабого ветерка даже не шелохнутся. В бурю раздирают ветвями мускулистую плоть ветра, сами же едва гнутся, когда ветер уже стонет от боли. Листья апельсиновых деревьев массивны и тяжелы. Изредка они издают короткий мрачный звук.

Я живу в хорошем месте, потому что мне в изобилии достается то благо, которое промышленность не производит, а, наоборот, уничтожает, — тишина. Есть миллионеры, которым ее достается куда меньше. Тишину изгнали из городов, на нее охотятся с адскими машинами, работающими на электричестве, ее убивают, размальывают самолеты в небе, шахтеры сквозь толщу пробиваются к ее подземным убежищам. А здесь, у меня, тишина восседает, величественная, как король в изгнании, ожидающий возвращения на трон. Даже человечесьи голоса редко нарушают ее. Словарный запас у туземцев невелик, расходуют они его бережливо.

Вдоволь у меня и облаков, грех жаловаться. Знаю, есть много людей, кому этой роскоши не достается совсем. Они трудятся в цехах, ангарах, офисах; прогресс превратил так называемую удачливую половину человечества в пещерных жителей. Человек, работает ли он, развлекается ли, спит ли, — всегда замкнут в четырех стенах и вообще забывает, что на свете есть облака.

А это — потеря огромная, ибо трудно найти зрелище прекраснее, чем летящие, кружащиеся в небе сгустки белой субстанции. Если есть в мироздании Господь Бог, который, иг-

1. Хольд — мера площади в Венгрии (0,432 га). Восемь хольдов — около 3,5 га.

рая, раскручивает, направляя друг на друга и заставляя сшибаться, звездные туманности диаметром в сотни тысяч световых лет, и смотрит на свое творение, хаос, сразу со всех сторон, — Он наверняка чувствует то же самое.

Облака у меня, если можно так выразиться, в дефиците не бывают. Они совсем юные: родились здесь, поблизости, в часе-другом полета восточного ветра, над южными просторами Атлантического океана. Когда-то давно Южная Америка, отколовшись от Африки, сдвинулась на целых полглобуса со своими реками, рыбами, зверями, паразитами, захватив даже кусочек африканских алмазных полей, чтобы появилось огромное море, рождающее облака. Из утренней дымки, из расцветной радуги этого моря и лепит солнце свежие, кружевные, белоснежные облака. В первую половину дня они лениво плывут в сторону джунглей, после полудня же ветер, дующий с океана, сердито гонит их дальше, к истокам рек; вечером они останавливаются и ждут, чтобы солнце превратило их в золотое руно. Я знаю эту пьесу, знаю ее сюжет — но мне интересна новая и новая сценография.

Я смотрю на облака, словно это мое стадо, и ничто не нарушает тишину, чтобы заставить меня отвести от них взгляд. Кроме того, у меня есть еще и родник! Гостеприимная земля Пафлагонии снабжает меня питьем вдоволь. Я прибыл сюда не так, как Понсе де Леон¹ во Флориду, я искал не источник молодости. Я старюсь всего на один день, если целый день пью эту воду, — разве это не прекрасно, разве этого не достаточно?

“Ariston men hydor”², — вспоминаю я греческих мудрецов. — “Вода — лучше всего”. Тому, кто не верит даже грекам, я скажу: покорчуйте папоротник с рассвета до полудня, потом сядьте в тени араукарии и испейте воды. А если у вас — ни папоротника, ни араукарии, можете спокойно поверить грекам. “Дано было им говорить от души, в полный голос”, — сказал Гораций, и видит Бог, никто лучше их не умел формулировать выводы жизненной мудрости. Над своим письменным столом, чтобы не забывать, я написал еще вот что: Memneso arpestein...³ — помни о том, что нельзя доверять никому.

1. Понсе де Леон (1460–1521) — испанский конкистадор, первый губернатор Пуэрто-Рико. Вдохновившись легендами индейцев, отправился искать источник вечной молодости — и открыл (приняв ее за остров) Флориду (1513).

2. Цитата из “Олимпийских од” древнегреческого поэта Пиндара (V–IV вв. до н. э.).

3. По всей видимости, эти слова — греческое соответствие словам Иисуса, который сказал ученикам своим: “Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас” (Мф. 24:4).

Всегда были люди, которые охотно пили дорогие вина, потому что думали: такие вина достаются немногим. Если сознание этого способно опьянять, я напился бы допьяна одной кружкой. Жажда, предвестница голода, уже нависла над человечеством. В стальных и стеклянных небоскребах из кранов сочится черт знает что. Возможно, жидкость эта не распространяет тиф, возможно, она благотворно влияет на зубную эмаль, возможно, годится и для стирки подштанников, возможно, благодаря ей десны у нас становятся не так чувствительны к ржавчине и свинцу — но совершенно точно, что из богатого словарного запаса греческого языка никто не выбрал бы для такого вина эпитет “самое лучшее”. История бедных богачей начинается с воды. В конце концов, деньги, добытые ценой нервов, им, чтобы утолить жажду до следующей чашки кофе, приходится тратить на виски.

Я живу в хорошем месте: смотрю на облака, как они плывут со стороны моря, знаю, что они не принесли с собой соли и горечи, вижу в них парящие чаши, кувшины — и могу надеяться, что тут-то, по крайней мере, все в порядке: прежде чем я почувствую жажду, они возьмутся за руки, расплачутся, обрушатся на вершине Сьерры на лес — и забурлит источник. До моего дома тысяча шагов. Для воды это — чистый пустяк, уж если из волн она взлетает до неба, а в небе добирается до наших холмов.

Иберы¹, представляя рай, считают, что там много тени и свежей воды. Пафлагонию колонизировали иберы; если они и не принесли сюда тайну приготовления сардин (других тайн у них нет), то жизненные свои цели принесли точно. А если они их не осуществили, то причина этого в том лишь, что трудно сочетать торговлю древесиной со склонностью лежать в тени. О римлянах было сказано, что они говорят о мире, а творят пустыню². Иберы сотворили пустыню, мечтая о тени.

Колонизаторы — люди гордые, они требуют, чтобы туземцы приспособивались к ним. Я без особой охоты говорю что-то хорошее о колонизаторах, но во многом сочувствую им, а не тем, к кому отношусь по документам: вышвырнутый оттуда, соглашаюсь с теми, кто принял меня здесь. Я не довольствуюсь рисом и соей насущными, я не склонен называть

1. Иберы — древний народ, населявший (примерно с III тысячелетия до н. э.) восточную часть нынешней Испании. Ленард, по всей очевидности, употребляет это слово как обозначение испанцев и португальцев.

2. Имеется в виду высказывание Иосифа Флавия о римлянах: “Создав пустыню, они говорят, что принесли мир”.

литературой их книги, написанные с добрыми намерениями, но уровня литературы не достигающими: в противоположность всем остальным, я произвожу — тень. Вокруг дома я посадил деревья, вдоль дороги, ведущей к шоссе — платаны, и из всего, что мною создано, больше всего горжусь тенью, лежащей под моими деревьями.

Существуют и более проверенные пути к бессмертию... Можно срубить дерево, сделать из него бумагу, написать на ней что-нибудь, потом искать издателя, найти его, долго ругаться с ним, поглаживать изданную книгу пальцами, дрожа ждать откликов — но куда проще, куда надежнее улечься в тени посаженного тобою дерева и наслаждаться авторскими правами!

Я радуюсь моим богатствам, составным элементам счастья: тишине, облакам, воде, бьющей из скалы, тени, отбрасываемой кронами, — всему тому, что не может обложить налогом никакая налоговая контора. Точно так же радуюсь я тому, в чем у меня нет нужды. У меня нет часов!

Более того, много лет я даже не замечал, что у меня их нет. Заря — это когда мне снятся дальние города, которые до того изменились, что я не найду в них своей дороги; утро — когда из окна спальни вижу, что стоящие поодаль араукарии подбрасывают солнце, будто сияющий воздушный шарик; полдень — когда тень платана на пастбище станет такой маленькой, что в ней как раз поместятся четыре мои овцы; вечер — когда взойдут звезды и спутники; ночь — когда, сверкая, низвергаются с небес самоубийцы метеоры, обломки далеких хаосов.

Есть блаженные, нищие духом, у них даже мыслей не имеется, которые можно было бы прервать; но таких мало. (Это — те, кто уже здесь, на земле, обрел Царство Небесное.) Те же, в ком брезжит хоть какая-то мысль или мечта, лишь прислушиваются с ужасом, когда к ним ворвется звонок, на каком такте прервется соната, когда придется отложить ложку и переключиться с одной мысли на другую.

Я живу в хорошем месте: у меня нет звонка! У меня нет даже звонка, который приносит дурные вести, рушит стены семейной крепости, является причиной одной из самых страшных болезней нашей эпохи: у меня нет звонка на двери!

В вечнозеленом мире, где нет часов, проводов, звонка, — нет и униформы. Кто ходит в тряпье, ходит в собственном тряпье. Кто не умеет писать, живет несравнимо спокойнее, чем тот, кого государство научило заполнять анкеты и ставить подпись под прошением. Здесь и сто лет назад были джунгли.

Человек был в них самым редким из всех живых существ. Каменный топор был самым эффективным прибором, оружием человека. Теперь лишь каменные наконечники стрел свидетельствуют о том, что кто-то здесь еще и думал, учился, планировал. Для земли, дерева, облака, ручья сто лет — не слишком долгое время. Здесь пока стоит тишина. У того, кто говорит здесь о свободе, на это еще есть основания.

Кто хвалится тем, сколько у него всего, как хорошо он устроился, обязан рассказать своим слушателям, как он добился этого своего рая. Приведу в пример одного наполеоновского — уж не помню, кого именно, — генерала, который вот так же показывал посетителю свои богатства. Посетитель заметил с завистью: вот бы все это мне! На что генерал ответил: пожалуйста, можете все это получить! Но пускай это будет той же ценой, какую заплатил я. Встаньте вон на тот холм! Я выведу сотню пехотинцев. В моем случае их было больше. Они выстроятся в пятистах шагах от вас. Вы полчаса будете ходить по холму туда-сюда, а солдаты будут непрерывно палить по вам. Если спустя полчаса вы будете живы, пожалуйста, все это ваше!

Я предлагаю такие же примерно условия: накинь на плечи старое лоденовое пальто и отправляйся, без денег, без знакомых, без документов, в страну, языка которой ты не знаешь. Переживи мировую войну. Потом вновь отправляйся, на сей раз даже без пальто, и высадись на берег в Пафлагонии, без денег, без знакомых и без знания иберийского языка. Если спустя пятнадцать лет ты еще будешь жив, пожалуйста, я отдам тебе свой деревянный замок, шестнадцать хольдов земли, кусок джунглей, посаженный мной виноградник, вообще все.

Когда кто-то рассказывает о своих успехах, он описывает свои мучения, добавляя обычно, сколько трудов и пота стоило ему его состояние. В давние времена полагалось задобрить завистливых богов; в наше время тот, у кого есть лишний кусок хлеба, должен опасаться не менее завистливых смертных, ведь поблизости может оказаться кто-нибудь, кто потребует все это для себя или для своего ближнего.

Тому, у кого что-то есть, страшно. Он боится грабителей, которые ищут легкую добычу, боится государства, которое норовит содрать с него налог. Боится Бога, боится соседа, которому твоя трава кажется более зеленой, чем его. Не было еще долларового миллионера, который, когда его спрашивают, не принимался бы объяснять, каким тяжким трудом досталось ему богатство.

Тишину, воду из родника, родившиеся сегодня утром золотистые курчавые облака у меня не отнимут налоговые орга-

ны, мои права на них не нуждаются в защите; могу признаться от всей души: мне повезло.

В успехе, конечно, всегда есть доля труда, доля мысли и присутствия духа и, да, доля удачи. Чем беспощаднее наш мир, чем беспокойнее наше столетие, тем важнее удача. Мы живем в хаосе. В хаосе удача очень важна. Наполеон — которого я поминаю здесь уже третий раз — всегда спрашивал, доверяя кому-нибудь важный пост: “Вы — удачливый человек?” Вот таких генералов искал он себе.

В романе игрок обычно проигрывает. Кто решился бы избразить тихого, богатого старого господина, который свое несметное богатство скопил, азартно играя в очко? Но когда меня отдали учиться в Вену, так как легенда, будто немецкий язык есть условие образованности и благополучия, пережила даже короля с бакенбардами¹, — я часто проходил мимо дома и трактира с вывеской “Мальчик с бубликами”. И когда я смотрю на свой дом, я вспоминаю историю того дома...

Брецельбуб, то есть мальчик, продававший бублики, был несчастным сиротой. Спал он в трактире, тогда еще называвшемся по-другому, в каком-нибудь углу. По утрам он подметал трактир, днем продавал там же бублики, гости посылали его, за грошовые чаевые чаще всего, в соседнюю букмекерскую контору или в жокейский клуб. Однажды он подслушал в трактире, как старый пьяница жокей сказал своему другу, кто победит на воскресном дерби. “Ставь на Брецельбуба! Чудо, а не конь!” — “Брецельбуб? Коня зовут, как меня! Брецельбуб — это же мальчик, продающий бублики! Конь будет бежать для меня! Он сделает меня богатым!” — И мальчик бросился в свой угол: под матрасом у него была коробочка, в которой он уже целый год складывал чаевые. Там было около ста крон. И он все поставил на своего тезку. На самом деле, более жалкой клячи, чем Брецельбуб, не было во всей Вене. Пьяница жокей хорошо это знал, он просто хотел разыграть своего приятеля.

В воскресенье Брецельбуб на три головы обогнал всех и выиграл дерби. Поставили на него всего двое: тот, которого разыграл пьяница жокей, и наш парнишка. Выигрыш был тысячекратный.

Случай этот произвел фурор. Мальчик был несовершеннолетний, выигрыш ему не хотели выплачивать. Выяснилось, что и опекуна у него нет. Но шумиха в газетах побудила власть имущих проявить милосердие: мальчик купил дом,

1. То есть Франца Иосифа I, императора Австрии и короля Венгрии (правил с 1848 по 1916 гг.).

трактир, стал миллионером; произошло это в те блаженные времена, когда зажаренный цыпленок был более важной птицей, чем двуглавый орел.

Может быть, мальчик наш тоже рекомендовал своим приятелям и завистникам ставить последний грош на одну-единственную лошадь.

Мир, в котором лошадь и семерка трэф были постоянными аксессуарами богини Фортуны, выглядел, в сущности, еще довольно логичным. Знатоки истории, возможно, уже догадались, что порядок этот продолжится недолго... Известен случай, когда римский император присвоил своему коню ранг консула¹... Вполне могло прийти время, когда лошадь или осел станут диктаторами и будут распоряжаться людскими судьбами.

И такое время пришло.

Сама жизнь стала рискованной азартной игрой. Правилам никто уже значения не придавал. Исключения же из правил иногда помогали выжить в самых ужасных ситуациях. Исключения — или удача. В аду исключение — это и есть удача.

Орудия удачи были самыми примитивными. Своей жизнью я, собственно говоря, обязан отсутствию портрета Муссолини, нынешним же помещьем моим — булавке на галстукке одного американского издателя.

Когда событие, то или иное, произошло — это характерно для хаоса, — мы не в состоянии осознать его значение. В начале войны на арену вышли целые армии и флоты, но решающую роль в истории сыграли четыре-пять физиков, которые в тот момент еще только писали уравнения в блокноте или на тетрадном листке. В мироздании, где сталкиваются звездные туманности, где взрываются солнца, нет порядка, нет плана — станет жизнь конкретного человека правилом или исключением, зависит от мелочей. Даже всезнающие авторы Библии уверены, что великолепные планы, которые Бог строил в связи с человечеством, пошли наперекосяк, поскользнувшись на истории с яблоком. Возможно, очень многое в жизни зависит от каких-то случайных вещей.

А фотография Муссолини, которую я упомянул, отсутствовала в Венгерском Королевском посольстве, точнее, в посольстве, которое находилось в Риме, еще точнее, на Квиринальском холме. (Отсутствовала она и в посольстве, которое было в Ватикане, но там это в порядке вещей. Посольство при Свя-

1. Император Калигула сделал своего коня по кличке Инцитат сенатором и собирался назначить его консулом, но не успел это сделать, так как был убит.

том престоле витало в другой реальности.) Венгерское Королевское посольство располагалось в старинном особняке. Когда-то — в хаосе бывает и такое — это был пользующийся зловецкой славой дом одного почтенного сообщества¹. Шепотом произносились имена кардиналов, которые переступали эти пороги еще до того, как здесь появились их превосходительства. Неизвестные мне случайности и ветер войны занесли сюда странных людей, которые должны были представлять образ страны. Был здесь, например, господин советник Надь, главный опекун мальтийских дам... Нет, не супружниц членов Мальтийского ордена, а дам, попавших сюда издалека, может, с дальнего конца улицы Мештер², дам, которые проводили на острове Мальта три месяца в качестве, так сказать, туристок, а затем три месяца отдыхали в Риме. Было их не так уж и мало... этот Мальтийский орден притягивал и австрийских танцовщиц... Но иногда у них не было настроения отдохнуть целых три месяца, и тогда возникали проблемы с итальянской полицией. В подобных случаях и вмешивался господин советник Надь, выступая с *note verbale*, — устным заявлением, — чтобы не позволить запятнать доброе имя отчизны. Дам же никто бы не упрекал в неблагодарности... Был там также господин советник витез³ Зоммер-Сас. Его счастливый случай заключался в том, что он находился на том же корабле, который вез контр-адмирала Хорти в сторону пролива Отранто⁴. В тех же водах оказался маленький итальянский крейсер. Они осторожно постреляли друг в друга, потом отправились по домам. Особенных неприятностей не произошло. Тот слепой случай, который сделал из полковника Ковача господина военного советника, мне неизвестен. Должно быть, случай был очень уж слепой. Советник Ковач был тем, кто верил во всемогущество Муссолини. Он был тем, кто не знал, что броня военных кораблей сделана из фольги, остов бомбардировщиков — из дерева, итальянские танки — из жести. Вероятно, он был единственный человек в Риме, кто, наблюдая за военными парадами, не

1. Ордена Мальтийских рыцарей. (*Прим. автора.*)

2. Улица Мештер — одна из будапештских улиц.

3. Слово “витез” (витязь) перед фамилией означало принадлежность к полуофициальному ордену военных, отличившихся на фронтах Первой мировой войны (приблизительно соответствует нашему слову “гвардии” перед обозначением чина: гвардии майор и т. п.).

4. Пролив Отранто соединяет Адриатическое и Ионическое моря, находится между побережьями Италии и Албании. Речь идет о том времени, когда у Венгрии был выход к Средиземному морю (через порт Фиуме, ныне Риека) и свой военно-морской флот. Командовал им контр-адмирал Миклош Хорти, будущий регент (правитель) Венгрии.

заметил, что перед дуче все время проходят одни и те же двадцать танков: они лишь уезжают за Колизей, а там солдаты надевают пилотки другого цвета и получают другой флаг.

К персоналу посольства относился и Помпейо, урожденный римлянин и итальянский гражданин, который был нанят на службу еще министром иностранных дел в годы правления Франца Иосифа. Когда делили собственность императорского и королевского зарубежного представительства¹, Помпейо достался венграм. С тех пор он стал телефонистом; он принимал звонки по-австрийски, по-венгерски и по-французски. Был там также один портье, но его случай еще не пришел. Он пришел позже, когда в Римском небе появилась эскадрилья “либерейторов”². Портье случайно наблюдал за их медленным, величавым полетом из сада. Совсем случайно туда упала одна-единственная бомба. На другой день из соседнего сада кто-то принес серебряную пуговицу с его ливреи. Ничего больше от него не осталось. В канцелярии служил еще некто по фамилии Хорват. О нем я ничего не слышал... Эти люди и были носителями облика... чего бишь? Венгрии? Да, в дипломатической реальности. Они состояли под буквой “Н” (Hongrie). Но это — лишь один из возможных вариантов: ведь посольство представляло и государство, и нацию, и родину.

Понятия эти совпадают не полностью, отнюдь. Государство — облагает граждан налогом и, при случае, убивает их. Форма этого явления меняется, но государство всегда утверждает себя как нечто вечное. Многие живут за счет государства, любить же его никто не любит. Нация: нацией мы гордимся, с воодушевлением трудимся ради нее, отдаем ей все что можно. Родина, отчизна: за родину мы с воодушевлением умираем, ибо она — наша мать, ибо она прижимает нас к груди своей, дает нам жизненные силы. Если отчизна зовет, то — вперед³...

Представляли ли перечисленные выше господ (его превосходительство господин посол вместе со своим цилиндром парил так высоко над остальными, что его не было видно) нацию, едва ли кто-либо решился бы утверждать. Триста шестьдесят три дня в году посольство представляло государство.

1. То есть после того, как Австро-Венгрия перестала существовать и Венгрия стала самостоятельным государством (июнь 1920 г., Трианонский мирный договор).

2. “Либерейторы” — американские тяжелые бомбардировщики, сыгравшие большую роль в годы Второй мировой войны.

3. Для всякого венгра — прозрачная отсылка к знаменитой “Национальной песне” Ш. Петефи: “Встань, мадьяр, зовет отчизна...”.

Те, кто сидел в приемной, вполне могли надеяться, что услышат глас Государства. Одновременно можно было, например, в изобилии получать щедрую информацию о задачах Государства, о его мощи, о его методах: на стенах приемной и на лестничных площадках висели прекрасные, цветные офорты XVII, XVIII веков. Город Эстергом. На первом плане людей сажают на кол; один из осужденных, которого сейчас должны казнить, целует распятие. Город Дёр. Слева вешают, справа отрубают голову. Когда открывается дверь кабинета, оттуда доносится глас Государства:

- Несите метрическое свидетельство деда и бабушки!
- Нечего таскаться по границам!
- Подтвердите, как положено, что ваш отец не был франкмасон!
- Никакой вы не венгр, вы только говорите по-венгерски!
- Заткнитесь, иначе передам вас итальянской полиции!

Но были в году еще два дня: 15 марта и 20 августа. Тогда посольство убирало свои печати в стол, вывешивало национальный флаг и распахивало ворота. Теперь это была родина.

Родина встречала своих голодных скитальцев-сыновей с любовью и сэндвичами. Со стен большого салона улыбались, глядя на собравшихся, австрийские эрцгерцоги. Даже в честь 15 марта никто не менял красно-бело-красные ленты на ленты национальных цветов. В 1919 году австрийцы отказались не только от Помпейю: республика отказалась от герцогов, от эрцгерцогов, от одетых в белую униформу аристократов с орденом золотого руна на груди. Когда Муссолини вселился в их прежний дворец, бесприютные полотна перебрались в Царство Священной Короны. За отсутствием красно-бело-зеленых Габсбургов, там их приняли с радостью.

“Народ — это не в моем вкусе”, — говорит герцогиня Олимпия¹. Нечто подобное сказали бы и ее родственники с голубой кровью, развешанные на стенах посольства, особенно если бы увидели, с какой жадностью налетает сброд на столы с сэндвичами...

Была война. Был голод. Беженцы, чужаки жили в такой нищете, в какую сами итальянцы не попадали даже после тюрьмы. В дни Государства оборванцы толпились в очередях с жестяными плошками, чтобы получить немножко воды, в которой мыли посуду на кухне у капуцинов. В день Родины — эти две реальности отделены друг от друга межзвездными пространствами — они пили кофе из чашек херендского фарфора, и глас Родины поощрительно обращался к ним:

1. Персонаж пьесы Ференца Молнара “Олимпия”. (Прим. автора.)

— Извольте немного погачи¹!

— Еще рюмочку абрикосовой палинки?

Господа советники были в черном, молодой граф Ипси-
лон² — в парадном венгерском наряде. На дворе стоял 1942 год.

В углу, на столике, среди цветов — две фотографии: его ве-
личество король итальянский и император абиссинский Вик-
тор Эммануил и витез Миклош Хорти Надьбаньский, герой
Отранто. Улыбались они не по-эрцгерцогски. Какая-то одина-
ковая кислая величавость лежала на физиономиях абиссин-
ского императора и адмирала верхом на коне.

Возле стола стоял господин Хорват.

Кто-то подошел к нему:

— Скажите, господин Хорват, а почему нет фотографии
Муссолини?

Господин Хорват с каменным лицом ответил:

— Извольте заметить, это вам не цирк. Мы находимся в
Венгерском Королевском посольстве, извольте заметить!

Я стоял в шаге от него. И я понял, что нашел того, кого Дио-
ген тщетно искал с фонарем на афинском рынке: человека.

Делом о моем паспорте — делом безнадежным, беспер-
спективным — занималось не государство, не родина, не ди-
пломатическое представительство: им занимался господин
Хорват. У него я получил бумагу, которая на языке Данте со-
общала, что паспорт мой находится, “с целью продления”, в
посольстве.

— Если итальянцы поверят, хорошо. Если спросят меня,
мне придется сказать, что это подделка. Носите на здоровье.

Итальянцы поверили. Я даже хлебные карточки получил.
Самым прекрасным плодом итальянского гуманизма было то,
что они верили всему, что исходило не от министерства про-
паганды.

Фигурирующие на сцене мировой истории короли, герцоги
и статисты после великих изменений ничем не отличаются от
удаливших грим сценических королей, которые после спектак-
ля едят в трактире хлеб с сыром. Портрет Муссолини исчез со
всех стоек, Италия тоже больше не представляла собой цирк, с
фасада Венгр. Кор. посольства исчезли реликвии К. и К.³. Оче-
редной поверенный в делах, обладавший более или менее нор-

1. Погача, погачи — маленькие хлебцы (от *итал.* focaccia) с сыром, со шкварками, нередко подсоленные.

2. Венгерские дворянские фамилии часто оканчивались на “у” (*греч.* буква “ипсилон”).

3. Аббревиатура “К. и К.” (Keiser und König — Император и Король) во вре-
мена Австро-Венгерской Монархии была самым распространенным обо-
значением государственных учреждений и структур.

мальным вкусом, в первый же день после прибытия снял со стен всех посаженных на кол и повешенных. Один лишь Помпей торжественно продолжал сидеть у телефонного пульта. Исчез и господин Хорват.

В своем деревянном доме я вспоминаю его, как благодарный пациент вспоминает своего спасителя-врача. Тяжело больными были мои документы. В те времена многие погибали из-за болезней своих бумаг. Лишь смелая операция могла поставить их на ноги. Для операции этой требовалось столько же храбрости, как для того, чтобы вынести парализованного больного из горящего дома.

Не знаю, что стало с господином Хорватом, жив ли он. Знаю лишь, что представлял он пред лицом Рима в том как бы находящемся вне стен города экстерриториальном доме — человечность. Благодарность моя будет жить до моей смерти.

Если орудием случая, спасшего мне жизнь, было отсутствие фотографии Муссолини, “чудовища с глазами омара”, то булавка на галстук мистера Макрея принесла мне, с меценатским великодушием, маленькое тихое имение.

Красивая это была булавка. Ее четыре крохотных бриллиантика, четыре крохотные жемчужины сверкали передо мной в ресторане Нью-Йоркского клуба, куда меня пригласил на деловой завтрак издатель моего латинского перевода “Винни Пуха”. (“Можете спокойно принять мое приглашение, — сказал он добродушно, — на вашей книге я заработал 200 000 долларов”). Обеденный зал клуба скопировали с подобных английских заведений. Что касается атмосферы, то каждый, кто втыкал здесь вилку в бифштекс, чувствовал себя настоящим лордом; только черные физиономии официантов свидетельствовали, что кровь у гостей тоже не совсем уж голубая.

Сославшись на своих шотландских предков, мистер Макрей заказал чай вместо кофе и, показывая на свою булавку, спросил:

— Нравится?

— Очень красивая вещь, — сказал я (конечно, если можно перевести как “красивая” слово “nice”, которое выражает любые оттенки положительного отношения, от “у-тю-тю” до благоговения).

Этого мистру Макрею оказалось достаточно, чтобы рассказать мне историю данного орудия счастливого случая.

Семья мистера Макрея во времена Гражданской войны дала Соединенным Штатам генерала. Это была война, в которой победу могли одержать только американцы. С обеих сторон сражались герои. На батальных полотнах не положено изображать убитых и раненых. Никаких сомнений, что предок моего

издателя боролся за самые высокие принципы. На стороне Юга или Севера? Не все ли равно. Важно, что семья прибыла в Америку не на пароходе, как — позже — всякие плебеи.

Отец моего издателя, несмотря на осиянное генеральским нимбом семейное прошлое, закончил — вот она, лишенная плана и смысла игра случайностей — лишь два класса начальной школы, и у него была одна мечта: он хотел стать кучером на конке. Линия конки шла от верхней оконечности Манхэттена до того места, где остров сегодня пересекает 42-я улица. Униформа на кучерах тоже была очень красива. Генеральским отпрыскам такое нравится.

Но — чтобы оставаться в рамках сравнения — начинать надо снизу. Карьера папаши при нью-йоркской конке началась в конюшне, где он менял подстилку в стойлах. Когда в Европе эрцгерцоги с орденами Золотого Руна на груди беседовали с нашими проавстрийскими вельможами еще по-французски, Макрей-старший в Нью-Йорке чистил щеткой лошадей. Давно это было... но истории, которые сыграли важную роль в нашем настоящем, иногда начинаются очень давно.

Очередная случайность свела молодого человека с одним священником. Священник нашел, что Макрей-старший достоин чего-то более значительного, чем статус гордого кучера на Бродвее. Он порекомендовал его курьером в издательство мистера Даттона.

Если ты официант, ты легко можешь пропить свой ум. Если ты разносишь книги, ты можешь пристраститься к чтению. Макрей-старший читал до тех пор, пока не обнаружил, что он ничего не понимает. Тогда он пошел в вечернюю школу и стал учиться. Собрав все силы, он учился и работал.

Спустя какое-то время он уже командовал остальными курьерами.

В этом месте его рассказа я уже догадался, каким будет продолжение. Американский писатель Горацио Эджер¹ столько раз описывал, как маленький чистильщик обуви становится генеральным директором гигантской фабрики гвоздей для конских подков, что всякие новые варианты легко ложатся в эту схему. (Подобная карьера столь же типична, как и случай, когда секретарша генерального директора становится его законной супругой.) Макрей-старший заодно обучился и бухгалтерии. Он много путешествовал по делам фирмы. Был менеджером по

1. Горацио Эджер (1832–1899) — один из самых плодовитых американских писателей XIX века; известен, прежде всего, произведениями для юношества.

распространению книг. Узнал, как заключать договоры с писателями. И когда мистер Даттон, старый, усталый бобыль, решил уйти на покой, свой бизнес, на выгодных условиях, он передал своему верному приспешнику. Мистер Макрей-старший занял кресло генерального директора.

Роман Горацио Элджера на этом бы и закончился. Но жизнь (увы) — это роман с продолжениями. Успешный специалист книжной индустрии в ходе своей карьеры так и не сумел научиться с уверенностью выносить суждение о какой-либо книге.

Однажды к нему пришел робкий молодой человек.

— Я написал книгу. Мне кажется, она очень интересная.

Макрей полистал рукопись.

— Да... Возможно... Но — не для нас.

Молодой человек погрузился.

— Дам я вам один адресок, — сказал Макрей. — Ступайте к моему коллеге Д. Ему, может быть, понравится.

Молодой человек поблагодарил и ушел. Д. книга понравилась, он издал ее. Это был “Пленник Зенды”¹; тираж книги достиг 100 000 экземпляров, потом из нее сделали пьесу, потом — фильм.

Д. был человек благодарный. Он понял, что Случай использовал в качестве своего орудия мистера Макрея, который из кучера стал издателем. Д. нанес ему визит и поблагодарил:

— Это была моя лучшая сделка. В знак признательности я кое-что вам принес.

И вручил ему булавку.

— Это булавка для галстука, — пояснил он. — Когда вам будут показывать рукопись, прикоснитесь к ней указательным пальцем. Она принесет вам удачу.

И Макрей-младший, там, в клубе, глядя на меня, потер указательным пальцем жемчужинки на булавке.

В романах Горацио Элджера сюжет никогда до этой стадии не доходит... Но в сказках и в правдивом описании действительности ты рано или поздно читаешь: “Прошло много лет; наш герой лежал на смертном одре...”

Когда Макрей-старший достиг этого момента, он позвал к себе своего единственного сына, Макрея-младшего, чтобы в нескольких коротких фразах передать ему основное, чему научила его жизнь:

1. “Пленник Зенды” (1894) — популярный в свое время приключенческий роман английского писателя Энтони Хоупа (1863–1933).

— Сын мой, ты будешь издателем. Знай, нет такого издателя и нет такой цыганки, которые могли бы безошибочно предсказать, какая книга будет пользоваться успехом. Так что и не думай ломать над этим голову. Нет никакого смысла читать рукописи. Для этого ты платишь внутренним рецензентам. Потом, после издания, тоже не читай. Это сделают критики, причем бесплатно. Приколи себе на галстук эту булавку — и уповай. Достаточно, если ты дотронешься до нее указательным пальцем...

Вскоре Макрей-младший сидел в кресле с высокой спинкой, за большим столом, руководя делами фирмы.

В один прекрасный день агент порекомендовал ему книгу: это были мемуары какого-то шведского врача. “Чего он только там ни городит! — сказал он. — Но литература — это такая игра, в которой правила допускают обман. Если и не жизнь, то уж биографию-то каждый может сделать по своему вкусу”.

Молодой издатель осторожно коснулся указательным пальцем булавки. И ощутил слабое покалывание, что-то вроде легкой щекотки.

— Берем, — сказал он.

И издал роман Аксея Мунте “Легенда о Сан-Микеле”. Книга разошлась в нескольких сотнях тысяч экземпляров, после чего Макрей переселился в новый офис и приобрел кресло с еще более высокой спинкой. В нем он сидел и ждал, пока ему порекомендуют нового писателя.

— Вот, сочинил профессор с Сицилии. Странный тип с козлиной бородкой и диковинной фамилией. Рассказы, пьесы. Чокнутый парень, но литература — это ведь такая игра, в которой и сумасшедший бывает прав: литература — зеркало жизни.

Указательный палец на булавке ощутил отчетливое покалывание.

— Как зовут этого чудака?

— Какой-то Пиранделло¹. Джакомо Пиранделло. А может, Никколо...

Спустя короткое время Пиранделло получил Нобелевскую премию, и Макрей перебрался на самую красивую улицу Манхэттена, Парк-авеню. Свое директорское кресло с высокой спинкой он покидал лишь в тех случаях, когда отправлялся “на книжные поиски”. Обычно — на французскую Ривьеру. Искал он книги для перевода на Гавайях, на островах Карибского моря, а однажды его занесло в Лондон. У одного издате-

1. Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1934).

ля лежала — лежала случайно — рукопись моего латинского перевода “Винни Пуха”: издатель еще не был уверен, стоит ли это издавать. Когда речь идет о литературе, позволительно городить всякую чушь, позволительно быть сумасшедшим... но нельзя быть полным идиотом и издавать детские книги на латыни...

Макрей уверенным движением приложил указательный палец к булавке.

И — явно ощутил покалывание. Правда, в случае с Пиранделло покалывание было сильнее, но тем не менее...

— Могу рискнуть на две тысячи пятьсот экземпляров, — сказал он.

Не знаю, где я был, что делал в тот судьбоносный момент. Наверное, предавался иллюзии, будто успех, судьба — прямое следствие труда, знаний, может быть, прилежания... В школе именно такие бредни вбивают в головы несчастным детям. Не мог же я думать... никакое логическое умозаключение не могло привести меня к тому, что будущее мое зависит от четырех крохотных жемчужин.

Когда тираж книги достиг ста тысяч, мистер Макрей переселился на угол Парк-авеню и Юнион-сквер, где купил три этажа в небоскребе из стали и стекла. Я же, испытывая приятное чувство, какое, наверное, испытывал мальчик, поставивший целую коробочку собранных чаевых на Брецельбуба, поселился в самом прекрасном деревянном замке Пафлагонского нагорья — в своем собственном доме.

Вот почему, прежде чем рассказывать, чем я занят с утра до вечера, я говорю, что попал в очень хорошее место.

Если бы эту мою историю описывал Горацио Элджер, здесь он бы спокойно закрыл крышку своей чернильницы. Стоит ли рисковать удачей своих героев дважды!

2

Когда я сказал, что в мировом хаосе решающую роль играют какие-то случайные вещи, это, наверное, выглядело преувеличением. На уроке истории шла речь о великих людях, о диктатуре мысли — пускай и не мыслителей. Но если над греческими богами стояла Судьба, то судьбу людей, даже тех, что властвуют над другими, определяют предметы; более того, предметы забытые. В свидетели приведу Черчилля, одного из немногих умных и образованных людей, достигших высокого статуса. Он написал виртуозное эссе о том, какова была бы наша жизнь, если бы мы жили дважды. Была бы она ничуть не лучше, вообще не была бы иной, утверждает он. Мы

вернулись бы в состояние, которое предшествовало совершенно мелким ошибкам, и в новой ситуации совершали бы новые ошибки. Более того, мы бы постарались исправить такие ошибки, которым мы обязаны дальнейшими своими успехами. Черчилль приводит пример из собственной жизни: он был корреспондентом на англо-бурской войне, и занятие это ему нравилось, он с увлечением изображал настоящего солдата, по крайней мере, ходил с огромным револьвером и записывал свои впечатления и мысли. Например, он пришел к выводу, что красные мундиры непрактичны, потому что представляют прекрасную мишень (о, наши венгерские гусары!); или что колючая проволока, ограждающая пастбище, может сослужить хорошую службу и в боевой обстановке, задерживая продвижение армии противника. Однажды он ехал на бронепоезде. То есть ехал бы, если бы бурам не пришла в голову идея, что рельсы можно взорвать. Бронепоезд разорвало на две части. Паровоз некоторое время еще катился вперед. Из него и прыгнул на землю юный Черчилль, а перед этим отстегнул тяжелый револьвер. Он хотел лишь посмотреть, что произошло с задними вагонами.

Но до этого дело не дошло. Из кустов выбежал офицер бурской армии. И направил на него оружие. Черчилль попал в плен. Теперь ему не оставалось ничего, кроме как сидеть и размышлять о своей жизни.

Прежде всего он жалел, что не может вернуть события к тому моменту, когда он прыгнул с паровоза. Ему не надо было отстегивать револьвер. Тогда он застрелил бы бура. И не попал бы в плен... Словом, он глубоко сожалел о своей неосмотрительности.

Спустя некоторое время он совершил побег и попал в Мозамбик, португальскую колонию. Он описал историю своего побега — и сразу приобрел в Англии известность, а вскоре после этого стал депутатом, потом министром... Словом, вышел на финишную прямую.

Он заново обдумал все случившееся — и понял, что своей карьерой обязан револьверу, который он так неосмотрительно отстегнул. Более того, офицером, который взял его в плен, был Ян Смэтс, позже — премьер-министр Южно-Африканского Союза, сторонник Англии! Ему принадлежит большая заслуга в том, что во время Первой мировой войны Южная Африка сражалась на стороне Англии, что буры не подняли восстание, даже когда на берегах Соммы на счету был каждый английский солдат! Застрелил Черчилль Смэтса, когда тот был еще офицером, — и немцы, очень возможно, прорвались бы к Парижу.

Все это Черчилль написал в двадцатые годы, мы же продолжим: если бы револьвер остался у него на поясе, Черчилль не попал бы в плен, не совершил бы побег, и слава не вознесла бы его до ранга Первого лорда Адмиралтейства. Он не стал бы совестью Англии в те времена, когда Ллойд Джордж и герцог Виндзорский подобострастно склонились перед Гитлером, а Чемберлен спрашивал у своей свиты: “Как вы думаете, понравился я фюреру?”. После Дюнкерка лишь его, Черчилля, упрямая лысина маячила на Западе, преграждая дорогу немецким танкам.

То есть, если бы тогда, тридцать с лишним лет назад, он спрыгнул с паровоза со своим револьвером, судьба всех нас, ныне живущих, могла бы быть иной; а может быть, у нас вообще не было бы судьбы.

Если судьбу мира определяют предметы, даже предметы забытые или отсутствующие, — удивительно ли, что мы живем в хаосе! Ведь предметы — револьверы, булавки для галстука — не несут ответственности за свои поступки и ничего не могут видеть вперед.

Есть такая старая игра: делить человечество на две части. Самое интересное в том, сколько вариантов тут существует: делить можно на черных и белых, на эксплуататоров и эксплуатируемых или, если принимать во внимание перспективу, на тех, кто попадет в рай, и на тех, кто окажется в аду. Если смотреть на темперамент, то людей делят на шизотимных Дон Кихотов и циклотимных Санчо Панс; если на душевный склад, то на интравертов и экстравертов. Проще делить людей на удачливых и неудачливых. Множественность всех этих, как будто упорядочивающих категорий, означает, что каждый человек может быть отнесен к бесчисленному количеству категорий, что часто одно следует из другого: если ты черный и эксплуатируемый, ты наверняка неудачник, но, несмотря на это, еще спокойно можешь быть экстравертом, и что есть бесчисленные переходные формы, которые — как, например, нарушающие даже самые строгие границы гермафродиты — воплощают в одной личности разные возможности. К неисчислимому множеству различий я добавлю еще одно. Человечество надо делить на две части: на тех, кого по утрам будят, и на тех, кто спит, пока сам не проснется, стряхивая с себя страхи рассеивающихся, гаснущих снов. Относящихся ко второй группе становится все меньше.

Можно ли считать, что это и есть прогресс? Я полагаю, причина страданий усталых, нервных людей — диктатура будильников. Не досмотренные до конца сны не поддаются измерению, не терпят статистики, хотя это могло бы стать ре-

шающе важным фактом. Ведь от этого зависит душевное равновесие! Только выспавшийся человек просыпается с улыбкой. Телефон разносит вдребезги мысли, будильник — сны.

Где-то я читал, что у дикарей Новой Каледонии считается смертельным грехом разбудить спящего человека. Я бы сказал, что мы — дикари куда в большей степени.

Я попал в хорошее место: сплю до тех пор, когда в постепенно усиливающемся солнечном свете бледнеет, с последними звездами, образ мира, сплетенный из последних обрывков сна. Давние настроения, перепутывающиеся воспоминания тихо возвращаются в свои дневные убежища. Открывается возможность для наступления нового дня, творящего новые воспоминания. Наступает утро. Какая будет сегодня погода?

Что-то не так было и с тем, кто распределял времена года: сюда он послал вечную весну, пару прохладных дней в июле, пару убийственно жарких недель на Рождество. Осень он отослал куда-то в другое место, до последнего кристалла лишил нас снега, конфисковал половину заката, весь иней, сосульки унес куда-то за границу, там — надежнее.

Знаю, у нас всегда так: власть имущие отнимают, слабые — воруют, хитрые — увозят свое достояние подальше.

Все это я принимаю к сведению, но не скажу, что мне не обидно. Вопрос погоды — это примерно половина ностальгии. Тому, кого случай зашвырнул за банановые пальмы — каким бы хорошим ни было это место, — обидно, что в школе он слышал про четыре времени года, а видит только одно. Обидно, что и подснежники распределены несправедливо.

Вот так, после того как я проснусь, просыпается моя верная спутница — ностальгия.

Один мой пациент, страдающий невралгией, рассказал мне как-то, что просыпается он всегда, не чувствуя никакой боли. Лишь минуту спустя боль пробуждается и растекается по телу, по нервам.

О ностальгии поэтами написано больше, чем психоаналитиками. Тот, кто страдает ностальгией, не часто посещает психоаналитиков, не верит, что излечится, даже если кто-то разберет по самым мелким деталям его сознание и нижние этажи, которые находятся под сознанием. Он и сам точно знает, что у него болит и почему, и знает, что понимание причины недуга поможет ему в такой же степени, как чумному больному, если ему показать изображение бациллы.

Таинственная, коварная болезнь. Ведь что такое родина? Не государство, не нация. Родина? Может быть, по-японски это — Ниппон, место, где восходит Солнце. Но если здесь, у нас, девочку отдают в прислуги куда-нибудь за десять кило-

метров от дома, а она через две недели прибегает домой, потому что не смогла жить на чужбине, потому что чуть не умерла от тоски по родине... По чему она тосковала? Можно ли вообще умереть от тоски по родине? Я думаю, можно.

Проблемы эмигрантов не поддаются разрешению. Человек или замыкается в себе, воспринимает окружающее как что-то нереальное, пытается избегать контактов с ним — и постепенно погружается в тяжелую меланхолию; или усваивает язык новой родины, ее разговорные обороты, ее способ видения, намеки, даже с детьми своими общается на этом языке — и тогда становится человеком с раздвоенным сознанием, шизофреником, вроде тех двуглавых, многоглавых чудищ из сказок...

В ностальгии есть что-то от тех болезней, которые поражают растения. Мы уже знаем: каждому растению необходимо определенное количество часов солнечного света. Тюльпан не станет расти, если его посадить в пафлагонскую землю в феврале: он заметит, что дни укорачиваются.

Когда-нибудь, возможно, мир станет настолько одинаковым, что у каждого города будет уже только одно лицо. Тогда житель квадратной пещеры в бетонном массиве без всяких неприятных ощущений сможет переселиться в другую, даже очень далекую пещеру. Сквозь асфальт человек не пускает корни; он спокойно может перебраться на самый далекий асфальт. Человек же, который вырос в саду, переберется в другой сад, лишь разорвав прежние корни.

Каждое утро мне приходится заново вступать в мир, который после освещающего глубины личности сна кажется очень чужим. Тоска по родине особенно мучительна по утрам, когда она только просыпается.

После нее просыпаются голод и жажда.

Из них двоих со второй мы знакомы более тесно. Хотя она и не сопровождала меня столь же преданно, как тоска по родине, однако провела со мной довольно долгое время. Спутницей она была шумной и беспокойной. До сих пор, даже под дружелюбной маской аппетита, я узнаю ее настоящее лицо. В течение примерно получаса перед завтраком что-то внутри тревожит меня, как отзвук давних дней, когда завтрака не было вовсе.

Кухня моя занимает отдельную постройку — если халупа эта заслуживает названия постройки. Та часть, которую можно считать столовой, связана окошком с помещением, где находится очаг. Так строят итальянцы. Дом деревянный, кухня — отдельно, на расстоянии от него: в случае пожара — меньше риска.

Мой завтрак не похож на завтрак моих предшественников, которые в лучах восходящего солнца жевали сырой корень маниока, но не похож и на завтрак великих магистров-отшельников: те приманивали назад жаждущую отлететь душу кусочком сухаря. Мой завтрак прибыл издалека, как и сам я: он утоляет голод, жажду и ностальгию.

Тому, кто оказался надолго оторванным от родной земли, кое-что придется усвоить: еда — не только вопрос голода, жажды, работы, это еще и вопрос ностальгии!

Если дома ты съел тарелку горохового супа с клецками, то чувствуешь лишь, достаточно ли посолен суп, мягок ли горох или стоило подержать кастрюлю на огне еще минут десять. В конце концов, ты удовлетворяешься ощущением, что теперь ты не так голоден, как перед этим.

На широтах южной части Атлантики все обстоит совсем по-другому. Иммигрант, лет десять в глаза не видевший гороха, потому что туземцам он неизвестен, а своего огорода у иммигранта нет, в один прекрасный момент получает участок земли и начинает писать письма, и пишет их до тех пор, пока не получит откуда-нибудь, с расстояния пяти или десяти тысяч километров, немножко — скажем, две пригоршни — пригодного для посева гороха. Он сажает его, беспокойно наблюдает, придет ли туча, чтобы полить грядку, даже ночью выходит проверить, не появился ли какой-нибудь безответственный сверчок, не повредил ли ростки, и смотрит, какие у гороха цветки, похожи ли они на белых бабочек, летающих на родине. Затем, в один прекрасный день — в один очень прекрасный день — он становится обладателем двух горстей зеленого горошка. Из этого гороха выйдет не только суп: пар, который поднимается над ним, явит тебе утраченный мир, и в промежутке между первой и последней ложками смягчится тоска по родине, растворится теснящее грудь ощущение вечного путника, который даже во сне сознает: в каком бы направлении он ни двигался, домой он не попадет все равно.

Только в гороховом супе, только в квинтете Шуберта всегда есть ощущение дома...

Или в завтраке, которому на тысячи миль вокруг нет подобного. Нет — потому что для этого нужно, чтобы издалека, с берегов Тисы, отправился пакетик красной паприки, попал в большой город, чтобы какие-то добрые руки придали пакету крылья, доверив его летательному аппарату, и чтобы потом этот пакетик не украли какая-нибудь из бесчисленных рук, пока автомобили, фургон, воловь повозки не повезут его все глубже в джунгли. И если даже это сказочное сокровище прибыло к тебе, все равно нет еще сала с паприкой. Для

этого нужно еще найти шваба, причем такого шваба¹, которому внятна взаимосвязь между свиньей и салом. Если шваб в хорошем настроении, он позволит, чтобы ты объяснил ему, как именно представлял сало Господь, когда в счастливый момент сотворил свинью. Потом нужно обсудить с ним, со швабом, проблемы копчения. Так рождается окрашенное в приятный для глаза цвет лекарство от ностальгии.

Хлеб прибывает не из такой немислимой дали. Он преодолевает каких-нибудь сто двадцать километров, пересекаясь с автобуса на автобус. Из небольшого количества американской пшеничной муки и большого количества муки из маниока его замесил и испек другой шваб, живущий в городе Нойе-Бранденбург. Хлеб — тоже продукт не южноамериканский.

Жажда и некую ностальгию особого рода утоляет чай. Жажда даже неприятнее, страшнее, чем голод.

Нелишне помнить, что вода течет не везде. И что не стоит искать водопроводный кран где попало. Собственно говоря, то, что во многих местах вода течет прямо из стен, это уже признак хаоса.

Воду для своего чая мне пришлось ждать несколько лет; пока же воду мне давал — когда тучи были в хорошем настроении — временный маленький колодец. Бывало, мне приходилось бежать на дальний край пастбища, где было небольшое болотце... Чистый исток находился в противоположном направлении: на вершине Сьерры... Сначала нужно было купить землю... потом вырезать четыреста ступеней на склоне Сьерры... потом проложить трубу длиной в тысячу пятьсот шагов, что тоже немалый труд с заступом... и лишь потом появилась вода для чая. Но мне кажется: у воды этой — вкус свободы, как у всего, что исходит из моей земли.

Кофейные кусты я посадил в саду, под деревьями, где им не угрожает похолодание... но не верю я в кофе. Он не пробуждает — он возбуждает. Для завтрака он уж никак не годится: лучи восходящего солнца любят окунаться в утоляющий жажду чай.

Чайные кусты я тоже мог бы посадить, они бы здесь выросли. Странно как раз то, что там, где человек ходит по земле вниз головой, все происходит наоборот. Начиная с долгих, знойных дней Рождества и кончая темными, прохладными, ранними июльскими вечерами, мы постоянно убеждаемся: то, что было черным, здесь — белое, что было “да”, здесь — “нет”. Бананы — дешевы, яблоки — дороги. Апельсины настолько дешевы, что, если хочешь, собирай их с деревьев у соседа; а вот

1. Швабами венгры часто называют любых немцев.

черешни... Есть тут один японец, он изредка торгует ими — и представьте: черешни он продает поштучно. Смородину, сирень в этой не знающей морозов долине вырастить невозможно. А чай — пожалуйста.

То есть чай, наверное, я мог бы вырастить... будь я японцем. Но у вещей, которые нами повелевают, есть и свои причуды; животные, например, понимают определенные языки (пули¹ — только венгерский!); есть растения, которые чужой язык не способны освоить. С чайными кустами приличествует общаться по-китайски или по-японски, иначе они впадают в тоску.

Завтракать не спеша, в тишине — вот истинное блаженство. “Господа спешить не любят”, — слышал я когда-то. (Речь шла о персидском шахе, который, отправившись с визитом в Европу, распорядился, чтобы его спецпоезд двигался со средней скоростью верблюжьего каравана.) Во всяком случае, я уверен: если человечество разделить на завтракающих медленно и завтракающих быстро, то первые — это те, кто попал в лучшее место. Если о культуре страны можно судить по объему расходуемого мыла, то, надо думать, средняя продолжительность завтрака вполне позволяет сделать вывод об уровне благосостояния и даже о среднем уровне счастья жителей данной страны.

Сидя за утренним чаем, отмечая ход времени только по изменению яркости солнечного света да по рассеиванию ключев тумана, я могу какое-то время посвятить размышлениям.

Существует ли нечто, что можно назвать жаждой звука или ностальгией по звуку? Трудно дать название душевному порыву. Одно несомненно: когда ты слушаешь фугу, в тебе что-то успокаивается, что-то затихает, что-то происходит. У тебя возникает блаженное чувство, что ты находишься на границе возможностей, что так называемые конечные вопросы существуют.

С точки зрения вещей неподвижных — время движется. С точки зрения летящего со скоростью света фотона — время стоит. Отдельные миры не связывает ничто. Правда, ничто их и не разделяет. Из отдельного мира музыки охотничья страсть вдруг переносит тебя в тот, другой, мир, где в такие моменты порхают над орхидеями в саду возникшие ниоткуда, исчезающие неведомо куда бархатные колибри. В такие моменты и следует охотиться на муравьев, если ты не хочешь делить свой сад, свой виноградник с принадлежащими к отдель-

1. Пули — венгерская порода пастушьих собак.

ному миру насекомых муравьями-листорезами. Они, как и мы, состоят из белков. Они, как и мы, живут благодаря работе, совершаемой посредством конечностей; они, как и мы, вступают в симбиоз с другими существами; они, как и мы, добывают хлеб свой насущный из земли. Понятно, что мы имеем самое непосредственное отношение друг к другу. Мы натыкаемся друг на друга, пытаемся друг друга перехитрить. Южная Америка слишком мала для нас с ними.

Ядовитая змея — не смертельно жестокий враг. Она боится человека. Она защищает кукурузу, корень маниоки от крыс. Муравей куда хитрей, куда беспощадней. Один муравей — самое безобидное существо в мире, но их — миллионы. Их можно назвать государством, сообществом, народом, как угодно; факт тот, что эта масса безоружных существ — ужасна. Мы не можем не бороться с ними. И мы должны хорошо изучить этого самого страшного нашего врага! Враг — всегда хороший учитель. Человечеству, плодящемуся наподобие муравьев, стоило бы заняться муравьями, которые столкнулись с подобными же проблемами. Они уже знают, как разместить миллион индивидов на маленькой территории, как снабжать их, как, может быть, делать счастливыми; мы в этом смысле знаем о живущем в нашем саду народе меньше, чем об обитателях далеких звезд. Мы еще не изучили язык муравьев-листорезов, мы даже не знаем, на одном ли языке говорят сотни их видов, есть ли у них, как у пчел, различные местные наречия.

По прикидкам ученых, государство муравьев-листорезов — муравьев *атта* — существует примерно пятьдесят миллионов лет. Предок человека десять миллионов лет тому назад был еще очень редким животным; сто тысяч лет назад он еще даже не подозревал о существовании тех вопросов, которые для замкнутых в тесном пространстве, плодящихся нездоровыми темпами насекомых — пчел, ос, муравьев — имеют жизненно важное значение, а в конце концов для всех живых существ, размножающихся подобно раковым клеткам и живущих долгой жизнью, окажутся в центре всех проблем. Сознаемся честно: этими живыми существами и являемся мы, люди.

Идея государства у муравьев *атта* — гениальна. Доказательство этому — миллионы лет сбалансированного развития их государственного устройства. Их древний муравьиный Ликург¹ рассуждал, должно быть, таким образом: если ты намерен размножаться подобно грибам, расталкивая локтями все прочее,

1. Ликург — легендарный древнегреческий законодатель; в частности, считается, что он сформулировал принципы, по которым было организовано Спартанское государство.

ты и должен питаться грибами. И тут открыл второй принцип, который человеку стал известен лишь с невероятным опозданием, всего около десяти тысяч лет тому назад: существа, жаждущие размножаться, должны культивировать, размножать то, чем они хотят жить. Муравьи *атта* не откладывают запасы пищи на зиму, как муравей из басни, не охотятся на дичь с каменным топором, как ботокуды. *Атта* – земледельцы. Они сеют, ухаживают за посевами, собирают урожай. Они разводят грибы. Все сто видов этих муравьев разводят и едят один и тот же вид грибов – что-то вроде белой плесени, гриб, на тонких нитях которого образуются видимые только под увеличительным стеклом узелки – это и есть утоляющее голод, утоляющее ностальгию сокровище муравьев *атта*. Гриб этот растет под землей в течение всего года. Он уже настолько привык к муравьиному уходу, что в диком виде не встречается. Он не хочет приживаться ни на какой другой, изготовленной человеком, питательной среде. Величайший государственный секрет муравьев *атта* заключается в том, как перегрызать – может быть, смачивая слюной, – листок, как пережевывать его, на какие части делить, чтобы на полученной массе гриб этот рос успешно. Как удалять все, чего гриб не любит: помидоры, кукурузу, гладиолусы. Как находить растения, на которых охотно и быстро белоснежные нити гриба разрастаются охотно и быстро: розы, землянику, листву молодых плодовых деревьев. Как надо – подобно юноше, готовому признаться в любви, – среди множества роз выбрать кроваво-красные? Как в большом саду найти самые молодые растения, недавно посаженные деревья... по возможности такие, которые привезены в Южную Америку издалека. *Атта* – не шелковичный червь, чтобы всегда лопать одни и те же листья. Он – или его излюбленный гриб – с воодушевлением относятся к новшествам. А может, дело обстоит по-другому: может, муравьи *атта* догадываются, что растения, им еще не известные, посажены человеком, который также стремится к мировому господству, который также плодится и плодит то, чем живет, а заодно уничтожает то, что не способен сожрать. Человек – это млекопитающее с душой муравья...

Нет никаких сомнений: муравьи *атта* понимают друг друга. В муравейнике царит порядок. Если порядок, гармония – хорошая вещь, то быть муравьем, должно быть, очень хорошо. Счастливо существо, которое мысли своих сотоварищей воспринимает как свои... Одно-два касания усиками, и муравей убежден в том, что сегодня в муравейник нужно принести листья определенного дерева. У муравьев *атта* очень давно – возможно, сорок девять миллионов девятьсот

девяносто девять лет тому назад — исчезло различие между приказом и мыслью.

Услышав тайный зов трубы, муравьи *атта* выходят из своего подземного грибного рая, неся с собой субстрат для грибных грядок. Новый приказ — и они останавливаются, роют новую пещеру, составляют грибные грядки, как археолог — разбитую на куски статую. Еще приказ, и они, выстроившись рядами по две-три особи, отправляются срезать листья, а затем кусочки листьев — правильные кружки — уносят в свое гнездилище... или собирают уже увядшие, наполовину высохшие листья. Есть приказ, который гласит: полностью оголить одно дерево... а завтра отправимся за листьями. Восприняв эту команду, все десять или двадцать тысяч муравьиных особей думают одно и то же, как такое же количество человек, которым надели на голову одинаковые шлемы. Но лучше сказать “солдат”, чем “человек”. Ведь человек становится солдатом потому, что знает: впереди его, *может быть*, застрелят, но сзади — застрелят наверняка. *Атта* не ведает смущающего душу различия между родиной, государством и грибом. Не ведает он и опасности. Если на его пути возникнет оборонительная линия из насыпанного горкой цианистого калия, он не изменит направления своего движения, пока не уткнется в неодолимую гору трупов. Только если кто-то, кто мыслит вместо него, определенным образом шевельнет усиками, все муравьи повернутся и побегут — чтобы обогнуть яд.

Яд пока еще не располагает миллионолетним прошлым. *Атта* знает о нем примерно столько же, сколько человек — об атомной войне. Вот почему я, после чая и нескольких фут Баха, могу в одиночку, с одной-единственной коробочкой муравьиного яда, выступить против целой муравьиной дивизии.

Атта умеет видеть и ночью; а может, он не видит ни ночью ни днем, может, его, наподобие радара, ведет инстинкт, чутье. В лесу их шеренги с грузом листьев часто можно встретить и днем. (Поэтому англичане зовут их “зонтичными” муравьями.) Вблизи жилых домов, особенно там, где бегают цыплята, муравьи работают только по ночам. С восходом солнца — или с криком петуха — они роняют листья и, словно хорошо выдрессированные призраки, исчезают под землей.

Вред, который приносят *атта*, огромен. Бывает, целые районы страны не выращивают ничего. “Муравьи не позволяют”. “Государство должно бы что-то предпринять”, — вздыхают аборигены. Но человеческое государство — не муравьиное государство, оно ломает голову не над самыми кардинальными задачами, оно производит законы вместо грибов. Вот и приходится каждый бой вести в одиночку: каждое утро обхо-

дить все плодовые деревья, виноградник, розарий, осматривать каждую дорожку, перекапывать прорытые за ночь туннели! Это — тяжелейшая борьба.

Какой-нибудь философ, будь он у *атта*, то же самое сказал бы по-другому: “Порядок есть только у нас. Если важен порядок, то мы — самые совершенные существа. У нас нет законодательных органов. Мы уже приняли все законы. Мы знаем: разводить грибы — важно, жить — неважно. Солнце светит для того, чтобы росли листья, земля вращается для того, чтобы наступала ночь, когда листья можно стричь. Мы уживались с человеком, пока он жил так, как предписывала природа: в лесу, где растут ананасы и корни маниока. Но человек выкорчевывает лес, сажает землянику и розы. Мы уносим его растения. В конечном счете все опять будет нашим. Когда-нибудь, когда люди съедят друг друга, начнется новый Золотой век — эпоха Порядка”.

Наверное, если бы кто-нибудь осторожно, через лупу, снимал на кинолентку сигналы усиков и переводил их в азбуку Морзе, он бы прочел нечто подобное.

Ежедневная борьба против муравьев *атта* — бесполезна. Этих образцовых граждан подземных государств можно заставить отступить лишь на короткое время. Они щадят только большие деревья, только большие пастбища — по крайней мере, в наших краях. (Но есть местности, где муравьи *атта* разводят свои питательные грибы даже на траве и способны начисто лишить листья за одну-единственную ночь самый высокий эвкалипт.) Те, кто считает, будто за Южную Америку борются великие державы, что человека здесь могут облагодетельствовать машины, — ошибаются: за Южную Америку борется человек против муравья.

Успешно ли, безуспешно ли, но я тоже веду свои ежедневные сражения примерно в то же самое время, когда в надземных городах мои друзья ведут подпольную борьбу, сражаясь за каждую пядь жизненного пространства, спешат со спального места на место рабочее, напрягают все силы, чтобы добыть гриб свой насущный.

Пока солнце смотрит в долину еще искоса и еще не посылает лучи, под которыми зреют бананы, я беру заступ и отправляюсь бороться с папоротником. Тому, кто проживет отведенное ему время здесь, в этом краю, на могильной плите можно будет написать: “Боролся с папоротником, пока жил”. Но вряд ли напишут. Это и так всем известно.

Папоротник старше, чем муравьи *атта*, на сто или двести миллионов лет. Только одна-две серые ящерицы, карликовые копии динозавров, могут похвастаться подобным ветвистым

семейным древом. Ученые растения, мудрые животные кое в чем приблизились к тайне вечной жизни... Нельзя, ни в коем случае нельзя, развиваться — вот эта тайна. Где-то нужно однажды остановиться. Были животные, которые старательно развивали свой защитный панцирь — и доразвивали до того, что он их раздавил. Были животные, которые создали такую мощную мускульную систему, что желудок не мог уже прокормить ее, и они, не переставая жрать, умерли от голода. И вот пришли мы, люди, с нашим разбухшим до невозможности мозгом, который до кошмара усиливает любую боль, масса клеток которого, далеко переросшая границы равновесия, нуждается в необозримом количестве связей и очень редко производит гениев, зато все чаще — сумасшедших. Мозг разбухает, череп увеличивается. Уже невыносимо мучительны роды, уже Смерть отбрасывает свою тень в слишком ясное сознание... Развитие — убивает. Только существам неподвижным, бесконечно повторяющим один и тот же цикл удаётся остановить песочные часы.

Возможно, когда-нибудь непогребенное тело последнего человека обступят муравьи; но совершенно точно, что, если он умрет здесь, его укроет своими листьями папоротник.

Корни папоротника сплетаются под землей в бесконечную сеть. Из нее и пробивается вверх стебель, словно сжатая и вдруг отпущенная пружина. И высоко над обычной травой распускает свои листья. В тени его увядает все остальное. Трава на лугу, куда проник папоротник, сохнет и умирает. Папоротник покоряет землю, вытягивает из нее соки. Муравьи *атта* его не трогают, они заключили союз против человека. Папоротник душил маниок, кукурузу, все остальное. Он отступает лишь там, где джунгли загораживают от него солнечный свет. Я принял решение вернуть мою землю деревьям. Пускай то, что всегда им принадлежало — во всяком случае до тех пор, пока не пришел человек с его порядком, — и дальше принадлежит им. Деревьям я хотел бы доверить память обо мне. Или нет, не совсем так. В своих долгих скитаниях по земле я столько всего делал, начинал, столько разных ролей играл, что хотел бы однажды насадить лес. Хотел бы, чтобы вместо непроходимых зарослей почва была покрыта травяным ковром. Замыслы у меня грандиозные: я хотел бы, чтобы на пятидесяти хольдах земли в конечном счете стояли мои ели, мои араукарии, чтобы в лесу были цветы и земляника, чтобы лес преграждал путь ветру и шуму, чтобы благодаря ему течение времени отражалось лишь в плывущих облаках. Вот почему каждое утро я отправляюсь бороться с папоротником, я сражаюсь с ним на стороне травы. Папоротник обороняет свои владения подобно стогла-

вой гидре: на месте одного срезанного стебля вырастают два. Но на третий, на десятый раз стебель вырастает лишь на ладонь, уже не в рост человека. Он уже не способен прорваться вверх: дорогу ему преграждают корни травы. Отступает он очень медленно; но я не должен пропускать ни дня. Я должен тщательно следить за каждой пядью земли, должен сопротивляться соблазну долго расслабленно наблюдать, как меняет краски далекий лес в лучах подымающегося над горизонтом солнца, как скользит тень облака по сотням различных оттенков зелени. В такие минуты я уже вижу, каким будет мой лес когда-нибудь, какой будет трава. Наверное, я этого не застаю, но это не имеет никакого значения.

После сражений в саду я возвращаюсь на кухню. Я понимаю, почему римляне считали очаг святилищем, алтарем (нынешний алтарь, со свечами, с жертвенным огнем — это уже только имитация очага). Допиваю оставшийся чай и ищу что-нибудь поесть — с ощущением, что теперь я это уже заслужил.

Я уже знаю: едим мы не затем, чтобы бежать на работу. Мы трудимся, чтобы есть, чтобы смотреть на полет голубей, на облака в небе! Я тоже стал южноамериканцем.

3

Наступает час сада! Моего сада! (Разница вот в чем: если где-нибудь я рассержусь на что-то, швыряю это что-то на землю. Здесь — швыряю на *мою* землю.)

Самый важный в моей жизни урок по садоводству преподал мне Микеланджело. Он проектировал монастырь картезианцев в Риме. Кавардак, который мы называем историей, перемешал вещи так, что место, когда-то пропахшее ладаном, сегодня украшено скульптурой Венеры Киренской¹, и ее груди указывают сегодня направление к кельям; но огороженные высокой стеной садики все еще существуют. Устав ордена был строгим. Монахи получали из внешнего мира только оливковое масло, соль, хлеб и дрова. Воду каждый доставал из своего колодца. Каждый из них сам должен был выращивать свой ежедневный рацион: салат, фасоль, горох, весной — артишок, осенью — дыни.

Сегодня я уже верю Микеланджело, который проектировал монастырь и сады и правильно определил все пропорции. Для того чтобы у отшельника каждый день в кастрюле

1. Статуя Афродиты Анадиомены (Афродита, выходящая из воды) была найдена в 1916 г. в Киренах (Ливия).

варилась какая-то зелень, места требуется очень мало. Дважды два шага — морковь, очень много моркови. Трижды полтора шага — земляника, много земляники. Персиковое дерево в хорошем настроении может обеспечить компотом целую семью на весь год. Микеланджело знал, знали и монахи-картезианцы: на пяди земли могут вырасти такие цветы, что ты ничего больше в саду и не увидишь! И даже из самого маленького садика молчаливый падре видел облаков больше, чем тот капуцин, который в своей келье ломал голову над тайной Святой Троицы. Сегодня я уже точно знаю: сад картезианцев находился в правильной пропорции с кастрюлей и тарелкой.

Признаюсь, сад мой по площади чуть-чуть больше, чем владения мужей, отличавшихся куда более святой, чем моя, жизнью. Они думали только о душевном блаженстве да о минестре, то есть о постном супе, тогда как я — о мясном супе и о том, чтобы вырастить еще неизвестные здесь цветы и овощи. Я еще не отказался от земных благ. Как и от того, чтобы вмешиваться в ход истории, когда мне это покажется уместным.

Говоря “история”, я имею в виду не массовые убийства, именуемые войной. История — это не обязательно хроника причинения боли и страданий, хотя отчаявшиеся историографы фиксировали в своих книгах главным образом именно кровопролития. Но у питания, у еды тоже есть своя всемирная история, в нее я и хотел бы вмешаться.

Пафлагония — тут муравьи правы — создана была не для человека. Крайне немногочисленные индейцы, живущие здесь, кое-как еще могли — охотой и рыболовством — насобирать себе на пропитание... но белые люди, колонизаторы, смотрели на враждебные джунгли ошарашенно: этот континент невозможно было покорить оружием. Здесь нужны были семена, саженцы!

Пшеница приплыла сюда из Европы, рис — из Азии, кукуруза — из Мексики, сахарный тростник — с берегов Карибского моря, “сладкий картофель” — из Центральной Америки, картошка — через Европу из Перу. Из Северной Америки пришел хлопок, из Африки — кофе, эти культуры долго давали, отчасти и сегодня дают, те деньги, на которые можно купить в других местах и привезти пищу. Бананы, апельсины, лимоны, ананасы... все это прибыло сюда откуда-то из других мест. То, что Пафлагония существует и что здесь живут люди, — не заслуга военачальников и государственных мужей. На историю оказывали влияние те, кто зарывал в землю горстку семян, кто вез с собой из очень далеких краев саженец, в бесконечном плавании делясь с ним скудной порцией воды, ожидая и надеясь.

Кто были эти люди? Имен их мы не знаем. Известно лишь имя того, единственного, человека, который привез кофе¹. Но кто привез виноград? Кто привез оливки? Морковь? Петрушку? Лук? Кокосовые орехи? Кто привез что-то неведомо куда? Кто привез кур, гусей, коров, кроликов?

Я знаю о них меньше, чем о картезианцах, чьи бороды развевал ветер в Риме, но в саду своем я чувствую всех этих неведомых мне людей своими родными братьями.

Не только имена их стерлись в памяти. Неизвестно и то, кем они были, чем занимались. Иберами? Иберийские короли заморскую землю обетованную раздавали щедро, как папы римские — прощение грехов, но посылали они за море не крестьян, не энтузиастов-агрономов, а благородных людей, дворян, которые с детства усвоили, что трудиться — стыдно. Люди эти не с заступом кидались на землю, а с бичом — на согнутые негритянские спины. Негров они задешево покупали у племенных вождей Золотого Берега и Берега Слоновой Кости², у арабских невольничьих торговцев, у английских и французских охотников на людей. В Африке тоже не было пшеницы, риса, кукурузы, картофеля, люди там тоже ели друг друга, так что они спокойно могли плыть сюда, чтобы резать сахарный тростник, давить, выпаривать... Но растений они с собой не привозили. Зато привозили своих богов, свои танцы, своих духов, которые пробуждались под бой барабана. Здесь они узнали и новых духов, которые рождаются в парах сахарного тростника. Они изображали сияющий нимб на лбу своих деревянных идолов, величали Великую Морскую Владычицу Мадонной, и скоро оказалось, что дети скованных цепью матерей и образуют население страны. Но о семенах, о саженьцах речи не шло. Благородный ибер думал о сахаре, о роме, о золоте; негры же быстро разучились думать: прежний свой язык они забыли, а из языка белых освоили лишь немного самых необходимых слов, столько, что с их помощью думать было невозможно. Сеять? Сажать? Для кого? Планировать? Планирует тот, кто верит в завтрашний день, который будет лучше сегодняшнего. Крепостной мог помечтать про какого-нибудь свинопаса, который станет графом, про юного батрака, который станет епископом. Негр же даже в мечтах оставался черным.

1. По легенде первый саженец кофе привез, с большими приключениями, на о. Мартинику французский морской офицер Габриэль Матье де Клие; случилось это в 1720-х гг.

2. Ныне африканские страны Гана и Кот д'Ивуар.

Во второй половине прошлого века в Европе сделалось тесно. Именно тогда приобрела трагический характер проблема соотношения эскимосов и тюленей¹. Именно тогда вытеснены были в Северную Америку те тридцать миллионов европейцев, которые из дикого края ковбоев и конокрадов слепили государство. В Пафлагонию мало кто приезжал, потому что было известно: здесь даже намека нет на то гражданское бытие, в котором пришелец мог бы как-то найти свое место. Те, кто все-таки приезжал, кого заносил сюда всевластный владыка нашей судьбы — Случай, привозили с собой надежду, отчаяние, туманные представления о жизни. Растений не привозили.

Одна старая женщина рассказывала, как прибыли сюда ее родители: “Отец мой каменщик был, на Вольни². Там жило много немцев, хотя край русским был. Отец строил форты всякие, укрепления — и размышлял. Он думал: где много крепостей, там, значит, будет война. И тогда он — а с ним еще десятка два мужиков — все продали, купили билеты на пароход и приплыли сюда с семьями. Когда они высадились на берег и увидели сплошные заросли, они закричали: “Ай, какое красивое имя у этой страны и какая она некрасивая! И все женщины заплакали”.

Безымянные, безвестные моряки, авантюристы, работоговцы — вот кто, видимо, привез сюда все то, чем сегодня живут люди. Сою — мелкую, черную, твердую как камень — доставили, должно быть, еще иберы, когда Святейший Отец мудрым соломоновым жестом поделил мир между португальцами и испанцами. Рис, думаю, приплыл с иезуитами, которые проникли сюда из Макао³; это они, полагаю, соединили здесь плавные линии пагод с иберийским барокко. “Рис наш насущный даждь нам днесь”, — так молились рабы, потому что у них не было слова для обозначения хлеба. Факт тот, что иммиграция растений в один прекрасный день прекратилась. Беженцы Второй мировой войны привозили с собой только свой ужас. В новых волнах переселенцев не было даже тех, кто когда-то умел рыть колодцы: все они считали, что вода течет из крана, вделанного в стену. Костер тоже никто не умел разводить, так как знали они только газ и электричество. Овощи, были они уверены, растут

1. Скрытая цитата из эпической поэмы И. Мадача “Трагедия человека” (1962). “Тюленей — мало, эскимосов — много”, — жалуется эскимос на гибнущей, остывающей Земле.

2. Вольнь — историческая область на северо-западе нынешней Украины.

3. Макао — административный район на юго-восточном побережье Китая; до 1999 г. был португальской колонией.

на рынке. В этом поколении иммигрантов, можно сказать, лишь тот представлял, что такое ходить по траве, кого по воскресеньям вонючий, пыхтящий маленький жестяной уродец выволакивал из бетонных ущелий на природу. Если есть вообще такая штука, как развитие, если есть направление развития, то я бы сказал: европеец с его растущими потребностями становится все более и более беспомощным. То, что предки его просили у Бога или у богов, он просит у всяких контор. Все действия, какие только существуют в мире, он делит на две категории: “можно” и “запрещено”. А поскольку в царящем хаосе две категории эти невозможно разделить на основе какой-то логики, то он всегда живет с одним вопросом: “Можно ли?”

Здесь, в своем саду, я до боли сердечной жалею моих товарищей по судьбе. Ведь если я тоже буду все время задавать себе этот вопрос, то сад мой станет не садом, а клеткой. Можно ли в этой стране заниматься врачебной практикой? Можно ли привозить сюда чужеземные растения, саженцы? Можно ли брать воду из находящегося на расстоянии двух тысяч шагов источника? Не знаю, я еще никого об этом не спрашивал. Но сад мой — вот он, он существует. И есть в нем прибывшие без всякого паспорта растения: дыня, тыква — ее южноафриканский и итальянский виды, есть датская спаржа, есть лесная земляника, переселенная из Перу, из Мачу-Пикчу, есть прибывшая из Будапешта, не ведающая границ коллекция кактусов, есть прибывшая из Северной Америки фасоль. И чтобы все это росло без сучка без задоринки, швейцарский клевер с четырьмя лепестками!

Не я в этом саду — единственный иммигрант! И не я тут — единственный “нелегальный” иммигрант. Выдуманные государством правила игры требуют, чтобы любое семечко сначала прошло контроль в органах Министерства сельского хозяйства. Правда, в стране еще нет ни одного ландыша, но ведь тот, кто привезет сюда ландыш в цветочном горшке, может занести с ним ландышевую чуму, ландышевую холеру, так что горшок у него надо забрать и держать взаперти, по крайней мере, до тех пор, пока не будет создана контора по контролю за ландышами. Ландыш до той поры засохнет. Нет еще и государственного учреждения по поливу ландышей (и не будет, пока не найдется какой-нибудь генерал, племянник которого почувствует призвание к этому). Собаки, лебеди, павлиныдохнут от голода, ибо закон — это святое, он не разрешает ввозить в страну болезни лебедей, но в таможенном ведомстве пока еще нет органа по кормлению лебедей...

Что трудно для ландыша и для лебедя, то нелегко и для человека. Помню, я, долго вращая глобус, размышлял над тем,

как трудно человеку, родившемуся в Центральной Европе, жить среди англосаксов, над тем, что в Южной Африке будет немало своих проблем, что в Боливии слишком разреженный воздух... И тогда я отправился в офис International Refugee Organisation¹, где надеялись найти выход застрявшие в Риме толпы нищих и обездоленных. Ни у кого в этом заведении понятия не было о заокеанских странах; все лишь были уверены, что хорошо там, где нас нет... Пафлагонцы даже на дверях своих вывесили табличку, кто им ну совершенно не нужен. Во-первых, врачи. Во-вторых, трамвайные кондуктора. Не нужны, кроме того, горбатые, сифилитики и арабы — если они не знают турецкого. Нужны же, в первую очередь, химики, специалисты по пищевым продуктам.

Я долго стоял, изучая список. То, что я по случайности врач, меня не особенно волновало: это же не горб, который сразу бросается в глаза, и не незнание турецкого, которое выяснится рано или поздно. Мне даже отраднo было узнать, что состояние дел со здравоохранением в стране настолько удовлетворительно, что нет нужды во врачах. Таким образом, оставалось добыть диплом химика, специалиста по пищевым продуктам.

IRO было учреждением необычным, уникальным. Породило его распространившееся в наше время дурацкое суеверие: уверенность в том, что на земном шаре существуют какие-то “границы”, какие-то невидимые линии, которые можно переступать лишь в том случае, если у тебя имеется определенное количество бумажек с печатью. Многие тысячи людей получают деньги за то, что делают такие бумаги. Другие тысячи — за то, что рассматривают их и ставят на них новые печати. Все это имеет примерно такой же смысл, как игра в карты, где так же решаются человеческие судьбы.

После войны один-два миллиона человек оказались там, где им не полагалось быть, где для них не было места, где они нищенствовали. И тогда Объединенные Нации — владельцы огромных территорий — решили помочь в этом деле.

Это в общем-то можно было бы решить довольно просто. Там, где живут три миллиарда, еще один миллион уж как-нибудь уместится... Ведь на землю ежегодно, причем без всякого паспорта, прибывает по шестьдесят миллионов человек — прибывает при содействии учреждения, которое иногда зовут аистом. Достаточно было бы на минутку — ну, на один месяц — отказаться от суеверия и объявить: пускай каждый от-

1. Международная организация по делам беженцев (IRO) была создана ООН в апреле 1946 г.

правляется туда, куда хочет. Но государства уже давно зациклились на конторах и офисах, а конторы и офисы — на бумагах с печатями. Вот для чего понадобилось IRO.

Все, кого куда-то увозят силой, кому удалось спастись бегством, кто исчез, кого случай помог вытащить из-под руин, — обычно оказываются без всяких удостоверений. Они сидят без бумаг в затхлых приемных, подобно викингам или Христофору Колумбу, которые, не имея визы, мечтали о западном полушарии. Объединенные Нации пропускали через свои границы только обладателей бумаг с печатями; потому и потребовалось создать IRO, где рождались свидетельства о рождении, где живым верили, что они живы, где детям выдавали подтверждение с печатью, что у них были отец и мать... и, может быть, подтверждали даже то, что требовали ведающие допуском (то есть недопуском) в страну ведомства упомянутых Объединенных Наций. Если Южная Африка желала получить упаковщиков хвостов омаров, а всех прочих отвергала, то IRO (да будет благословенно имя его!) выдавало кому-нибудь будапештскому адвокату документ, что он в жизни ничего иного не делал, только укладывал хвосты омаров в жестяные банки. И он мог отправляться в путь с Божьим благословением, надеясь, что тому, кому Бог дает хвосты омаров, Он даст и какой-никакой разум.

На самом деле, процедура была не так проста. Человек должен был сдать экзамен, получить диплом — и лишь после этого мог ехать. У IRO был свой список экзаменов. Сдавать экзамен можно было по чему угодно, от золотоискательства до пошива мешков. (Многие сдавали экзамен по выращиванию сахарной свеклы, потому что именно это требовалось в Канаде.) Я тоже был в списке экзаменаторов: ко мне посылали сиделок и нянь, по полтора (доллара) за штуку. Иной оценки, кроме “отлично”, я в жизни никому не поставил. Полный добрых чувств, вошел я в экзаменационное бюро.

— Мне бы диплом химика по пищевым продуктам.

— *Senz'altro*¹, никаких проблем, *doctore*. В Пафлагонию собрались?

— Судя по карте, там много места. Где я могу сдать экзамен?

— Пищевые продукты... Химика по пищевым продуктам у нас нет. Есть просто химик. Тут, напротив, в институте геологии, *professore Rossi*. Ступайте туда сразу, вот вам записка, что это для нас.

1. Конечно (*итал.*).

Во всяком случае, у меня было то преимущество, что я мог поговорить с экзаменатором. В конце концов, не каждый экзаменатор — такой же благожелательный, как я. (Я ставил “отлично” даже тем, кто отвечал по-латышски, по-польски, по-эстонски.) Я нашел профессора; он в одиночестве возился с чем-то в своей лаборатории. Были летние каникулы. Я изложил свою просьбу.

— Дело в том, — сказал он, — что в химии пищевых продуктов я совершенно ничего не понимаю. Моя специальность — химия ископаемых. А вы в пищевых продуктах разбираетесь?

— Разбираюсь. Я врач, знаю кое-что о жирах, углеводах, белках...

— Верю. Но смотрите... Я получаю по полтора доллара... Вы не обидитесь... Мне все-таки нужно как-то убедиться в вашей осведомленности по химии.

Я задумался ненадолго, потом решительно сказал:

— Здесь у вас сильно воняет. Вот формулы двух главных источников вони: NH_3 , H_2S ¹.

— Да вы — химик! — воскликнул professore Rossi и поставил “отлично”.

Так я попал в Пафлагонию. Неудивительно, что растения мои, каждое по-своему, также последовали за мной без соблюдения формальностей. (Знаю, что один и тот же процесс можно описать совершенно разными глаголами. Я мог бы сказать: я собрал их, как милостыню. Можно сказать и иначе: я усугубляю хаос. Заманиваю сюда нездешние растения.)

Если бы мои растения могли поведать, как они попали за ограду моего дома, они бы тоже сказали: мы живем в хаосе, нет смысла планировать что-либо, готовиться к чему-либо: случай выхватывает нас из путаной-перепутаной цепи причин и следствий.

Сколько романов нужно, чтобы описать, как попала из Капской провинции в Южную Пафлагонию странная, вся в бородавках, по форме напоминающая итальянскую винную бутылку тыква!

Гитлер вошел в Чехию. Его германские боги требуют человеческих жертв, его охотники за головами приступают к работе. Одна юная девушка, сбежав, попадает в Рим. Здесь она знакомится с офицером, летчиком, у нее рождается от него ребенок, ее уже нельзя просто взять и выслать из страны. Офицер оказывается в числе без вести пропавших, его родители согласны принять внука; охотники за головами захваты-

1. Формулы аммиака и сероводорода.

вают Рим, но лишь на короткое время: с юга плечом к плечу наступают поляки, англичане, говорящие по-голландски кафры¹, носящие американскую форму японцы... Хаос? Роман? Ничего подобного: история... События, которые прокладывают путь тыкве в виде бутылки в сторону Южной Америки!.. Девушка уже не молода, но покоряет сердце одного южноафриканца. (Это уже не история, это — снова роман.) Буры, может быть, не такие уж хорошие политики, но мужья — прекрасные. И брюнскую немецкую натуру нетрудно поменять на двухсотлетнюю голландскую...

Как в жизни многих других, я и в данной жизни сыграл эпизодическую роль тихого домашнего врача. Как это было в отношениях со многими другими моими пациентами с подобной же судьбой, гонорар я не решился просить. Зато, с запозданием в двадцать с чем-то лет, получил горсточку тыквенных семечек! Исключительно щедрый получился гонорар: с Рождества по март на разбегающихся в бесконечность плетях дюжинами растут зеленые бородавчатые бутылочки! Мои куры и поросята моих соседей тоже рады этому, даже не догадываясь, что история эта началась с того, что Гитлер однажды воскликнул: “Wir wollen gar keine Tschechen”², а потом отдал секретный приказ, чтобы солдаты до блеска начистили сапоги для вступления в Прагу.

История моей лесной земляники теряется в тумане. Может быть, властители инков занесли землянику на вершины Перуанских гор? Или, наоборот, древние камнерезы возвели крепость в Мачу-Пикчу потому, что там росла самая ароматная земляника? Конкистадоры вошли в крепость, стоящую на вершине горы; их бог, их святые не любили туземцев. Только джунгли защитили тех, кто со своим странным языком, с одной-двумя легендами успел бежать туда. Только заросли уберегли тесно подогнанные друг к другу каменные глыбы Мачу-Пикчу. Джунгли, заросли уберегли и землянику.

В начале века откуда-то из Литвы эмигрировала в Америку одна семья. Среди англосаксов они не сумели ужиться. Прозябать в ранге презируемой касты им надоело. Они перебрались в Пафлагонию, где в том, что касается прав, иммигранты в те времена не находились еще ниже туземцев и негров. Здесь они основали безнадежное предприятие, но начинание оказалось удачным: они стали производить бумагу.

Бумагу — там, где люди не знают букв? Но нельзя же смотреть на реальность лишь с точки зрения литературы. С бума-

1. Кафры — чернокожие жители Южной Африки.

2. “Не желаем никаких чехов!” (нем.)

гой можно делать много чего. Бумага — терпелива, она не краснеет. Добрые люди эти рассчитали правильно: две мировые войны массами переправляли сюда из Европы тех, кто знал буквы. В конце концов, здесь появились даже газеты. Газета же — нечто такое, что чревато привыканием, вроде наркотика. Газеты ведь ежедневно читают даже те, кто не верит в них ни единому слову и прочитанную газету швыряет оземь, и даже те, кто упрямо считает, что в этот день завеса лжи не помешала ему увидеть, что спрятано под фальшью и хитро-сплетениями, так что в конце концов у того, кто не потребляет регулярно варева из бумаги и типографской краски, появляется ощущение, что он утратил связь с миром. Фабрика, производящая бумагу из самой дешевой древесины — эвкалипта, поставляла на рынок самую дешевую бумагу. На газеты более дорогая и не требуется. Глава семейства за скверную бумагу получал то, что заслужил: то, на чем государство печатало ту ложь, будто это деньги. Он мог ездить куда угодно, даже в Мачу-Пикчу.

Но этого было бы еще недостаточно, для того чтобы земляника добралась до моего сада. Если попытаться и далее распутывать нити, которые, будучи сплетены Парками, запутываются почище, чем линии на полотнах абстрактной живописи, то мне стоит проследить за нитью судьбы одного венгерского инженера. Вижу я ее до момента (в хаосе этот момент может находиться где угодно, но самое позднее — там, где нить меняет свой цвет и ты теряешь ее из поля зрения), когда этот инженер, посещавший кружок Галилея¹, лично знавший Оскара Яси², вынужден был срочно покинуть Будапешт, куда как раз вплыл адмирал³ на своем белом коне. Рим тогда переживал счастливый период: он уже не был столицей христианства и еще не был столицей фашистской империи. Крохотный его король⁴ мирно протирал тряпочкой старинные монеты своей коллекции, а его министры, одетые пока что в штатское, между двумя блюдами спагетти ломали голову над тем, как должна вести себя страна, которая проиграла все сражения великой войны, но в конце все-таки смогла угнездиться среди победите-

1. Кружок Галилея (1908–1919) — общественное объединение венгерской молодежи, вокруг которого сплотились либеральные и реформаторские силы той эпохи.

2. Яси Оскар (1875–1957) — венгерский политический деятель, один из самых авторитетных представителей либерализма.

3. То есть Миклош Хорти.

4. Виктор Эммануил III был королем Италии с 1900 по 1946 г. Ирония автора объясняется тем, что в 1922 г. король передал всю полноту власти в стране Муссолини.

лей¹. Инженер остался в Риме, он жил там и в тот период, когда один надменный, однако не в совершенстве владевший итальянским языком журналист² перебрался туда, чтобы играть Цезаря, а страна готовилась проигрывать новые, еще более грандиозные сражения.

До Пафлагонии все еще было достаточно далеко. Но инженер наш поступил механиком на бумажную фабрику. И с этого момента путь моей земляники был уже в значительной мере предопределен — по крайней мере, настолько, насколько можно различать впереди рисунок нитей, который и при взгляде назад-то прослеживается с трудом. Богатый бумажный фабрикант добрался до Мачу-Пикчу: тот, кто опустился до того, что стал южноамериканцем, считает своей обязанностью пощупать южноамериканское прошлое. Там он увидел землянику, оттуда привез ее к себе. (Это опять же не южноамериканская, а европейская черта. Абориген оставил бы ее там, где увидел.) У него и попросил инженер землянику для собственного сада. (Он тоже был неисправимым европейцем.) Не помню уж, где мы с этим инженером пересеклись. Бабочки находят друг друга по запаху на расстоянии десяти миль — как же не найти друг друга, хотя и на большем расстоянии, двум венграм, какое-то время жившим в Риме!

“Gelsomino d’India” — индийский жасмин — значилось на том, купленном в Риме, на углу Piazza Santissimi Apostoli конверте, из которого появились красующиеся на вьющемся стебле яркие красные, розовые и белые цветы. Когда я смотрю на них, я словно вижу эту площадь Святых Апостолов... Площадь была тихая и просторная. Даже профессора и студенты находящегося поблизости Universitas Gregoriana не ходили сюда без особой необходимости. В Храме Двенадцати Апостолов похоронен тот папа францисканец, который, будучи в дурном настроении, распустил орден иезуитов. Семена этих цветов прислала мне библиотекарша университетской библиотеки в Вене. Я не знаком с ней лично, но думаю, что она — милая и наверняка крайне добросовестная женщина.

В том, что она добросовестна, никаких сомнений быть не может. Она ежедневно просматривает список поступивших книг. В этом списке она увидела название моей книги: “Die Kuh auf dem Bast”. “Корова на мочале”? “Бессмыслица какая-то, наверное, опечатка”. Она повертела книгу в руках, откры-

1. В Первой мировой войне Италия воевала на стороне Антанты, но в основном проигрывала сражения. Ходила даже такая шутка: “Зачем Господь Бог создал итальянскую армию? Чтобы было кого побеждать австро-венгерской армии!”

2. То есть Бенито Муссолини.

ла ее, немного почитала, прочла до конца — и написала мне письмо. С тех пор я обременяю ее жизнь трудными заданиями. Она уже нашла для меня вновь ставшую актуальной книгу Кеплера “Путешествие на Луну”¹, оригинал пророчеств святого Малахии², один из трех латинских переводов “Германа и Доротеи”... Тот, кто когда-либо пытался найти среди миллиона книг именно ту, которая ему нужна, по достоинству сумеет оценить этот подвиг. Моя незнакомого подруга влюблена в Рим (здесь нити снова сходятся) и иногда, если ей очень захочется пить, сбегает в Рим за глотком воды из Fontana di Trevi. Однажды она спросила, что мне прислать. Я, как человек нескромный, попросил лесов и садов. И получил их: на крутом склоне позади моего дома цепляются за камни римские пинии, а на кольях, предназначенных для фасоли, растут странные, яркие маленькие цветы.

Все они прибыли ко мне издалека, прибыли весьма запутанными путями, и теперь, все вместе, мирно ждут дождя. Более пестрой компании не сыщешь даже в иных знаменитых отелях, где только побывать постояльцем — повышает твой статус! Из зернышка, присланного из Южной Африки, вырос куст алоэ, из швейцарских семян — базилик, из английских — *Calonyction aculeatum*³, огромный, белый цветок, который видят раскрытым только майские жуки и те, кто встает на заре; великий полномочный посол — очень великий посол штата Теннесси — дерево катальпа; листья у него огромные, как у табака, но дают не дым, а тень. А поскольку неизменно остается правило, что в любом международном обществе должен значиться и будапештский член, то в саду у меня стоят три юных абрикосовых деревца: косточки их подобрала на склоне горы Геллерт⁴ одна привычная к перу рука. Они пока только тянутся вверх, листья их трепещут под дуновением непривычного воздуха, и они ломают голову над тем, почему здесь зима — летом и когда же люди едят здесь абрикосовое варенье. Плоды они пока только обещают. До сих пор я тщетно упрашивал их цветы, чтобы они были поосмотрительнее, не осыпались слишком рано, думая о том, что провидение Божье сотворило

1. Кеплер Иоганн (1571–1630) — немецкий математик, астроном, открывший законы движения планет Солнечной системы. Речь идет о книге Кеплера “Somnium” (“Сон, или Посмертное сочинение о лунной астрономии”, фантастический рассказ о полёте на Луну), 1634.

2. Св. Малахия (ок. 1096–1148) — католический епископ Сев. Ирландии. Канонизирован в 1190 г.

3. Луноцвет, лианоподобное растение с крупными ароматными цветами, раскрывающимися только ночью.

4. Гора в центре Будапешта, на берегу Дуная.

их потому, что на свете существуют и олады. Я уже объяснял им, что персик созревает в конце января, а значит, абрикосы я жду к Рождеству. Они еще не набрались решимости, чтобы смириться с общей судьбой иммигрантов — изменить свою натуру. Абрикосовое дерево еще не стало рождественской елкой.

Растения никогда не пытались построить башню до неба; следовательно, Господь Бог не обрушил на них филологические проблемы. Платан шелестит по-иному, чем ель, но они понимают друг друга. В саду у меня царит мир. Растения заняты своими заботами. Люди — так я это вижу — несчастливы потому, что с тех пор как их стало много, то и дело находится кто-нибудь, кто хочет показать остальным путь, ведущий ко всеобщему, поголовному, счастью. И самое главное: у растений нет нервной системы, которая мучает их, чувствуя боль. Они распускаются и увядают без страданий! Им принадлежит Царство Небесное.

В каждом саду есть что-то от этого царства... Я чувствую это, и сильнее всего чувствую в своем саду.

Садовником быть хорошо... Садовник свою работу никогда не закончит. Книга, статуя, дом — все это рано или поздно становится законченным. Сад — никогда. В нем всегда есть что сеять, чего ждать, на что смотреть. Там, где нет даже зимнего сна, всегда раскрываются краски, зовущие бабочек. И всегда есть проблемы, которые нужно решать. Никто не знает, что у тебя вырастет. Об этом в книгах еще не сказано. Только сад может сказать, какие растения чувствуют себя хорошо в той части тропиков, где иногда бывают и заморозки.

Я уже многому научился. Я знаю, что сирень и смородина не выносят долгого лета, а банан — короткой зимы. Спаржа и орхидеи согласны, что это — лучший климат в мире. Чабрец нигде не чувствовал себя лучше, чем здесь. Груша мирится с тем, что здесь не бывает снега, яблоня — нет. Южноамериканские растения — такие как кукуруза и георгины — прекрасно чувствуют себя здесь. Малина — вянет и погибает, ежевика — не поймет, жить ей или умереть.

Хотел бы я научиться тому, чему не учат книги.

Сад — это столько всего, что он может считаться еще и школой. Такой школой, в которой учат совсем не тому, что преподают в школе с кафедрой и партами. Там человек твердо усваивает, что он должен приравниваться к одноклассникам, ровесникам, что важно знать, кто и что думает о тебе, куда ты карабкаешься по воображаемой лестнице общественной репутации, какую оценку тебе выставляют, куда помещает тебя власть, та власть, что наверху, на более высоком, хотя бы на два дюйма, помосте, то есть между тобой и небом. Шко-

ла воспитывает прежде всего оппортунистов, людей, которые постоянно прислушиваются к тому, что думают о тебе находящиеся вокруг. А тот, кто трудится в саду, усваивает одно: его лопата — самый важный прибор, между ним и небом нет ничего, кроме облаков. Он не спрашивает, что думает о нем морковь, не мечтает импонировать салату. Садовник — человек могучий, человек очень самостоятельный, и в этом смысле он более важен, чем все, кто живет за оградой.

Насколько он счастливее тех, за оградой? Может быть, настолько, насколько больше неба ему достается. Небо ведь тоже не распределено по справедливости: есть, кто видит его всего час в день, есть, кто почти все время... есть, кто получает из него квадратик, другой — половину пуговицы... есть, кто видит его сквозь дым, есть, кто и не догадывается, что над крышей что-то еще имеется... С завершения последнего ледникового периода все меньше на свете людей, которым удаётся видеть достаточно неба. В своем саду я очень жалею тех, кому дана лишь надежда, что после смерти они изнутри увидят, что находится за синим куполом.

Стоя рядом с морковной грядкой, я вижу, что могу высказывать собственное мнение даже по “находящимся за оградой” важным вопросам: например, почему увеличивается, даже в цивилизованных странах, число преступников, почему мошенники и негодяи не боятся тюрьмы, которая когда-то казалась столь страшной, — да потому, что повседневная их жизнь тоже проходит в тюрьме, в комнате, где нет неба. Снаружи время тоже измеряют часами, а не цветением и увяданием. Они и снаружи чувствуют себя движимыми — движущими — шестеренками, там у них тоже нет лопаты, чтобы вонзить ее в реальность, и нет черенка лопаты, чтобы, опершись на него, размышлять над вопросами бытия столько, насколько хватит мысли. Квартиры — усыхают, комнаты — съеживаются, превращаясь в тюремные камеры, кухни — массово гибнут от изнурения. В тюрьмах тоже есть центральное отопление, и питьевая вода там не хуже, чем за их пределами. Если город превращается в тюрьму, то тюрьма скорее защищает жителей, чем наказывает их. Защищает от пыточных орудий цивилизации: от раздражающего мысль телефона, от просачивающегося сквозь стены шума и грохота, от необходимости играть разные роли, а значит, то и дело переодеваться.

Сад научил меня серьезно относиться к погоде. Я начинаю понимать, почему погода стала излюбленной темой разговоров в англосаксонском мире: не только потому, что рассуждения о погоде не требуют большой образованности и каждый может говорить что угодно, — но и потому, что погода важна

для тех, кому принадлежит земля, чьи интересы связаны с каждой каплей дождя, чьи деревья трясет или ломает ветер. Кроме моряков, погода важна тем, кто живет землей, кто следит за солнцем, дымкой, игрой облаков, относящейся к хаотическому хаосу. Погода тоже распределена несправедливо: дождь принадлежит тому, чей сад он поливает, ветер — тому, кто преграждает ему путь хвойным лесом.

Тот, кто гонит нас за море, может отнять у нас времена года; времен дня же никто не заберет у нас, пока нас защищает сад.

Есть ли садоцентричное мировоззрение? Думаю, есть.

Но я снова отвлекся. Мне надо работать: надо выбросить отслужившие свое стебли кукурузы, увядшие циннии; пора заниматься рассадой огородного растения — знать бы, как его величать по-венгерски! — по имени финоккио¹. Кого тянет во многие и разные места, у того в саду много дел. В Италию мечтает попасть даже тот, кто никогда там не был; а уж что говорить о том, кто прожил там, пусть на птичьих правах, целых пятнадцать лет! Ностальгию такого рода лечат базилик и чабрец, но не повредит и пара тех пиний, которые затеняют от палящего солнца могилы Китса и Шелли². (Слишком много света — не на пользу стихам.) Мои юные пинии нуждаются в тщательной заботе. Истинные римлянки, они сопровождают пение сверчков многоголосым шелестом... здесь они этому не научатся, уже по той причине, что здешние сверчки поют по ночам... Нет, работа в моем саду никогда не будет закончена, надо бы заказать сюда поющих сверчков! Но с этим придется подождать, пока не вырастут мои римские пинии: сверчки на Палатинском холме поют неохотно, если им не вторит басами хвоя.

Добрые люди, главное занятие которых вскапывать и пропалывать души своих ближних, утверждают: долгая жизнь — всего лишь ответ на перенесенные в детстве обиды. Доля истины в этом есть, хотя бы потому уже, что ничто в хаосе не является абсолютно чистым и в каждой субстанции есть следы прочих субстанций, даже в самом совершенном описании встречаются несовершенные формулировки, в самых диких теориях — как в зарослях сорняка в саду — можно набрать пару фраз истинного прозрения. Возможно, моя жизнь окажется недостаточно долгой для того, чтобы я успел отомстить за все встреченные на своем пути таблички “Ходить по газону запрещается”; возмож-

1. Фенхель, укроп аптечный.

2. Английские поэты Джон Китс (1795–1821) и Перси Биши Шелли (1792–1822) похоронены в Риме.

но, старцу предстоит отомстить за того малыша, которого полсотни лет тому назад заперли однажды в темный чулан и он тщетно колотил кулачками по доскам, пытаясь раздвинуть стены. Если это так, я знаю, что все напрасно: над садом плывут облака, те, что летят быстрее других, уносят с собою годы — но над тесным чуланом ничто не летало, в том дворе ничто не росло, часы стояли, дни вязли в тине. Дети, воспитывавшиеся в трущобах, не знали, что позволено и что не позволено, а позже их, скорее всего, приговаривали к полному лишению свободы. Ребенок, растущий в хорошей (Господи, для кого хорошей?) семье, начинал жизнь с утраты свободы, и вокруг него каждый день относительно чего-нибудь выяснялось: то нельзя, это нельзя. Были такие, кто с этим смирялся. Может быть, большинство. Большинство заключенных лишь короткое время колотят кулаком в стену. Канарейка, которую воспитывают в клетке, называемой хорошей семьей, теряет способность находить зернышко где-либо, кроме как на фарфоровом блюдечке. Крылья носят ее лишь от решетки до решетки. Меня воспитание не испортило. Если я полю грядку за забором, забор ограждает не меня: он ограждает кур, которые норовят проникнуть в сад снаружи... Право подразделять действия на то, что можно, и на то, что нельзя, я оставляю за собой. Всю жизнь я боролся и против обезумевших европейских, и против жалких южноамериканских генералов, против всех, кто запирает детей в темные чуланы и воспитательные учреждения, заставляет их зубрить *der-die-das*, одевает их, таких разных, в одинаковую униформу, пытается выдрессировать, осчастливить даже тех, у кого давно молоко на губах обсохло, составляет для них расписание уроков, планирует им жизнь...

Когда я вонзаю лопату в густой бурьян, когда выдираю дикий побег, я тем самым мщу за давнюю тюрьму, которую никогда не смогу простить. Как давние, правомочные владельцы этой земли, ботокуды, я лишь на ночь забираюсь в пещеру.

Primum vivere... сначала — жизнь, а уж потом — работа, свершения, идеалы. Жизнь есть только в саду и в музыке. Все иное — игра, роль или заблуждение; если, конечно, не явная ложь.

Правда, в принципе, я мог бы представить мир, в котором сады уже вымерли... мир, в котором плодящееся подобно раковым клеткам, человечество после лесов истребило и сады: в прямоугольных полях тянутся параллельные шеренги салата; шеренги сои, шеренги капусты гуськом движутся к шеренгам одинаковых, говорящих на одном языке ртов. Сегодня в садах еще выращиваются цветы, огромную часть которых все равно получают покойники, после того как проживут жизнь, напрочь лишённую цветов, и уйдут в незнакомую им землю (если толь-

ко более знакомый огонь не превратит их останки в горстку золы). После истребленных животных наступает эпоха вымирающих растений. Уже агонизируют парки... публичные скверы восполняют их разве что в той степени, в какой публичные дома восполняют уют семейного очага. Все миниатюрнее делаются сады, все больше камня нагромождается между землей и облаками. Уже называют садом пару цветочных горшков на балконе. Огородик с овощами попадает на крышу небоскреба из стекла и стали; фабрики яиц, фабрики салата теснятся рядом с фабриками машинного грохота, под машинами, производящими погоду. Колесо, господствующее повсеместно, в конце концов, подомнет под себя и последний сад.

Гораций, мой высокочтимый Мастер и спутник, который утренние часы проводил, должно быть, примерно таким же, как я, образом, уже давным-давно сказал своей подруге, чтобы та не пыталась заглянуть в будущее, не верила тем, кто планирует жизнь, — я принимаю его совет и буду стараться думать только про нынешние нужды моих растений.

Растения и так знают, когда им цвести, когда увядать. Мы же и так этого не знаем. Мы — ничего не знаем. Хотя достаточно знать, какое растение для нас полезно, какое — сорняк. Сорняк надо выпалывать.

К девяти часам я справляюсь с дневными задачами.

Хотя я уже и до сих пор говорил всякую всячину о людях, которые когда-либо хотя бы одним движением вмешивались в мою жизнь — или говорили что-нибудь важное о человечестве, о живых и о мертвых, — с живым человеком я так рано еще не встречался. Вот и в этом реальность отличается от романа: на восьмидесяти страницах романа многим уже досталось бы право голоса, в детективном романе уже обнаружился бы первый труп, в романе про любовь уже случилось бы что-нибудь скандальное или незабываемое, хороший эссеист уже заложил бы основы какой-нибудь поразительной теории, плохой эссеист успел бы уже разозлить своего прилежного читателя — я же в этот момент бросаю взгляд в долину и вижу на дороге двух-трех своих современников, они трясутся на двухколесной упряжке или катят на велосипеде, где те же два колеса символизируют цивилизацию. Там, где каждый — на своем месте, мало кто хотел бы находиться где-нибудь еще. А дорога могла бы быть и уже, и хуже.

С каким количеством своих современников сталкивается житель далеких городов за время между первой и второй чашкой кофе? Португальцы говорят так: eu pau sei pau — не знаю.

Хорошо это или плохо, что человек лишь поздно и от случая к случаю встречает представителей вида *homo sapiens*? Гнетущему состоянию одиночества посвящена огромная литература. Какой-нибудь начитанный, сведущий в языках литератор легко составил бы антологию зарифмованных стенаний людей, мучимых одиночеством. Может быть, столь же много, на целую библиотеку, литературы наберется у тех, кто жалуется, что заперт со слишком большим количеством людей. “Моя пенитенция: мои сотоварищи по ордену”, — писал один, позже объявленный святым иезуит. В морских круизах многоместные каюты дешевле; в тюрьмах самых опасных преступников держат в одиночных камерах... Ситуация не ясна.

Я думаю, вопрос человеческих взаимоотношений — это вопрос дозирования. Из наличия современников человек получает или слишком малую, или угнетающе огромную порцию. “Что в малом количестве возбуждает, в большом — парализует”, — гласит один из основных законов фармацевтики. Беда в том, что на людях не написано, как написано на коробочке с лекарствами, сколько капель выдержит пациент. Если бы кто-нибудь носил на лбу надпись “Меня ежедневно на десять минут достаточно”, он сэкономил бы много проблем для тех, кто вынужден с ним работать. Хотя сам по себе он может быть человеком прекрасным — или таким гениальным мыслителем, что за те же десять минут он даст тебе слишком много. Человек с маркой “меня можно выдержать в любом количестве” едва ли родился на свет; сладкая иллюзия, будто друг для друга не существует максимальной дозы — привилегия влюбленных. Самый прочный брак — тот, в котором супруги получают друг друга в дозах меньших, чем полагается. Из трагедий передозирования рождается большинство житейских жалоб.

Кто с кем совместим? На этот вопрос нет исчерпывающего ответа. Кто в какой мере выносит другого — второй психофармакологический вопрос. И чем дольше длится связь двоих людей, тем этот второй вопрос становится важнее.

Врач прописывает пациенту дозу лекарства. Дозу же пациента для кого-то другого не пропишет никто. Тот, кто желает хороших человеческих взаимоотношений, должен сам определять дозу минутной стрелкой (или, если у него нет часов, биением сердца): сколько выдержит меня, мои мысли, мое присутствие тот, кто стоит передо мной? Сколько я выдержу кого-то другого, не сломавшись, не заработав невроза, не придя в ярость, не соскучившись? Какова средняя величина между двумя дозами? Кто настолько бесцветен, безвкусен, не-

интересен, что его можно выдержать в любом количестве, как воду? Кто настолько важен и необходим, что он требуется ежедневно, как хлеб насущный?

И ведь есть еще не поддающийся никакому дозированию человеческий поток, серая масса которого годами, в течение всей нашей жизни омывает жителей больших городов. Не *общественность*, не *соотечественники*, но — *люди*, the man in the street (если спрашивают его мнение), народ (тот, который — глас Божий), масса, *тов*¹ (когда власть приказывает в нее стрелять). Различие между понятиями “canaille”, “peuple”, “nation”² определяет не французский словарь, но чувство. Позиция поэтов также неоднозначна... Dulce et decorum est pro patria mori³, — говорит Гораций; но, поразмыслив, говорит уже другое: Odi profanum vulgus et arceo⁴.

Житель многомиллионных муравейников — одновременно и часть, и страдающий субъект, и судья этой массы; если он не мельтешит, не суетится вместе с сотнями тысяч своих соплеменников, удел его в конечном счете будет ужасным. Ему кажется, рука судьбы не падет на него — среди стольких-то людей... Теория вероятности подсказывает ему, что в таком множестве стольких голов упавший сверху кирпич выберет кого-нибудь другого. В массах, одетых в униформу, дух поддерживается ощущением того, что Смерти все равно, кого выхватить, и она найдет кого-нибудь в этом муравейнике. В конечном счете самым пугающим становится одиночество... и оставшийся наедине с собой человек испытывает жуткий страх на пустынных улицах или в лесу.

И его можно понять: масса — его Баконь⁵, его охотничьи угодья. В ней, в массе, он может найти лучшего друга, вечную любовь, родственную душу. Среди множества лиц какое-нибудь одно может посмотреть на него и как воплощение надежды!

Тот, кому современники достаются в микроскопических дозах, впадает в панику, если окажется в толпе, — точно так же как привыкший к электрическому свету житель бетонных пещер, оказавшийся один, ночью, в лесу. Что касается меня, признаюсь: я ужасно себя ощущаю в потоке человеческих масс. У потоков есть цель, направление, но человеческий по-

1. Человек улицы... Толпа (*англ.*).

2. “Плебс”, “народ”, “нация” (*франц.*).

3. Сладка и прекрасна смерть за родину (*лат.*). В переводе А. Фета: “Смерть за отечество отрадна и славна...”

4. Ненавижу непросвещенную чернь и держусь от нее подальше (*лат.*). В переводе Н. Гинцбурга: “Противна чернь мне, чуждая тайн моих...”

5. Баконь — гористый, лесной район в Западной Венгрии. В старые времена дикость этого края привлекала туда разбойников.

ток движется бесцельно: утром — к центру города, там он в течение дня бурлит и пенится, сгущается в полдень, вечером течет в обратном направлении, растекается между бетонными коробками, затем, утром, течет обратно... в определенном ритме; значительная часть огромной массы людей находится не там, где хотела бы быть, вот и мечется туда-сюда множество “двуногих неоперенных существ”, и уже не смысл, а одна лишь гидродинамика объясняет их движения, их скопление, их разрежение.

Я нахожусь далеко от больших городов. Из выплескивающих отсюда человеческих потоков меня редко достигает хотя бы горсточка людей. Те, кто в целях изменения своего местоположения пользуется дорогой, проходящей в трех сотнях шагов от моего дома, — это люди, которые живут по соседству и едут или идут они недалеко. Из сада своего я не вижу лиц прохожих или проезжих, но с чистой совестью могу утверждать, что кое-что знаю о содержании их черепов. Десять лет я живу здесь, десять лет старюсь, знаю речи людей, их суеверия, знаю осторожно переосмысленную историю общего прошлого, которое стоит за некоторыми из них.

И все-таки я не могу утверждать, что знаю их. Ведь в одном черепе уместаются порой полдюжины личностей, и тот, кто скажет, что знает кого-то, наверняка заблуждается. Двуглавый орел на гербе Габсбургов был на редкость честной птицей... человек же под своей одноголовостью обычно скрывает свою многоголовую природу. Так что стоглавой гидрой должен быть тот психоаналитик, кто в такой степени отождествляет себя с людьми, что понимает их.

О больших группах людей нетрудно сказать и что-нибудь истинное. Утверждения общего порядка могут быть даже верными. Чем меньше рассматриваемая группа, тем более неопределенным становится ее описание. К индивиду выводы, сделанные относительно массы, совсем не относятся. Похожа ситуация в физике: насчет железа мы можем привести кучу неопровержимых фактов, у атома железа тайн уже куда больше, описание атомного ядра — невероятно сложная вещь, не поддающиеся объяснению неопределенности поражают воображение.

То, что я могу рассказать о Пафлагонии, о пафлагонцах, — верно. Но из этого рассказа к жителям моей долины относится лишь небольшая (правдивая) часть. Об отдельных людях мне известно еще меньше; если мне удастся, расспросив их, узнать, что у кого болит, — это уже немало, да и еще если удастся не допустить, чтобы один и тот же больной обманул меня больше двух раз.

Если уж я пишу о чем-нибудь, то стараюсь оставаться на надежной почве общих утверждений! Тому, кого судьба забросила сюда, кто начинает висеть в пространстве вниз головой, следует изменить основные понятия. Точнее, ему следует знать: противоположность хаоса — не порядок, а другой, новый, хаос. Зеркальное отражение какого-нибудь рисунка — тоже рисунок. Поставленная с ног на голову абракадабра — все равно абракадабра.

Мы не космонавты, которые смотрят с Луны на серебряный серп Земли, наблюдают за восходом Земли, за ее закатом... но звезды здесь пугающе другие. В холодном июле — самые короткие дни, рождественский зной опалает и сушит траву. У бедного человека свое только кофе и сахар, все остальное приходится покупать. Флаг страны прославляет *науку и здоровье*, но число неграмотных и больных проказой растет из года в год просто потому, что они размножаются быстрее, чем прочие. Расовой ненависти нет. Каждый имеет право быть таким черным, каким хочет. Душевнобольные — редки, больных же с телесными недугами столько, что под их весом рухнуло бы любое социальное обеспечение.

Астрономы считают, что могут существовать изготовленные из антиматерии антимлечные пути. Тамошние существа считают свой антимир таким же естественным, как мы — наш. Однако если два противоположных мира столкнутся, взрыв уничтожит оба.

Примерно так же южноамериканский мир с противоположным знаком существует вдали от нашего, европейского: приехать сюда, столкнуться с ним чревато определенными трудностями.

Если эту, схематично описанную, ситуацию мы захотели бы показать более точно, то вышло бы следующее: здешний шваб — совсем не такой, как шваб в Буде, здешний итальянец ни черта бы не понял в Риме. А негр — прошу читателя понять меня правильно — отличается от европейца вовсе не только цветом кожи. Что же касается индейца, он — сама воплощенная тайна, приблизиться к разгадке которой не поможет ни слово, ни буква. И все эти группы по отдельности, в той или иной мере еще поддающиеся описанию, кое-где уже слились, обогатив образ человечества новыми красками.

“В каждом настоящем южноамериканце, даже самом что ни на есть белом, есть капля негритянской крови”, — утверждает один из самых авторитетных южноамериканских социологов. Поэтому — если я хочу говорить о людях, проходящих за краем моего пастбища, — прежде всего, нужно говорить о неграх.

Правда, уместнее, может быть, было бы прежде всего по-критиковать приведенную цитату. Слово “кровь” тут не совсем подходит. Кровь, загадочная, символическая субстанция, кровь, о которой мы вспоминаем с тихим содроганием, кровь утекающая, из которой улетучивается, поднимаясь к небесам, живая душа, — это общая жидкость человечества. У нее нет определения, она — не благородная и не плебейская. Не будь она красной, мы назвали бы ее бесцветной.

Исключительно трудно нам, “белым”, говорить о людях с другим цветом кожи, о расе, о крови. Во имя каких-то смутных понятий как раз в нашем столетии происходили и происходят ежедневно ужасные вещи, которые не выразить словами. В Северной Америке негром считается и тот, чей предок происходит от негра. Раса зависит не от цвета кожи, прячется не в таинственных клетках крови, ее выдают старые свидетельства о рождении. То есть это — вопрос чисто бумажный. Индеец считается белым человеком, благородным монголом. Японца благородным монголом не считают. Южноафриканских голландцев в школе учат, что Бог создал человека по своему образу и подобию, а поскольку Бог, как всем известно, не негр, то негр — не человек, а всего лишь безволосая, способная обучаться обезьяна. Иберы знают, что негры — это раса, в которой женщина — человек, мужчина — животное. Теории насаждали в реальность бичом и ружьем.

*De strigis, quae non sunt*¹... Хорошо было бы, если бы пару сотен лет никто не предпринимал попыток делить человечество на расы!

Если между группами людей есть различие, то это не различие по крови, ни в коем случае не различие по рангу, это не может и не должно быть различием в правах на свободу. Если есть различие, оно может быть только различием по тренингу. (Я не посмел бы перевести английское слово “training”² как “тренировка”.)

Есть китайские семьи, которые на протяжении двух тысяч лет занимаются каллиграфией. Пишут они в самом деле куда красивее, чем белые, которые взяли за кисть с запозданием. Японские бумажные цветы оригами делаются так давно, что короткой человеческой жизни недостаточно, чтобы обучиться правильным движениям.

1. Один из первых венгерских королей Кальман Книжник (1095–1116) запретил ведовские процессы. Ему приписывают фразу: “*De strigis vero quae non sunt, nulla amplius quaestio fiat*” — “О ведьмах, каковых на самом деле не существует, не должно быть никаких судебных расследований”.

2. Training — воспитание, обучение, приобретение навыков (англ.).

Европейцы около тысячи лет живут за одинаковыми заборами и стенами: над головами у них — одинаковый дамоклов арсенал. Они привыкли к законам. Правили ими люди, умеющие писать и читать. Они сохраняли, передавая от отца к сыну, общие предрассудки. Причину всех своих бед они видели в *одном-единственном* яблоке. Они держали одинаковых домашних животных. Они выращивали хлеб, искали золото. Читающая Европа сидела в общей библиотеке; легенду, будто на них сошел Святой Дух, рассказывали одинаково на всех языках. Язык, эта чрезмерно высоко оцененная в прошлом столетии изгородь, не способен был изменить общий душевный склад. За одно-два поколения люди легко превращались из датчанина в немца, как Мольтке¹, из хорвата, серба, словака, румына — в венгра, как Бабич, Петефи или Аттила Йожеф, из итальянца — во француза, как Наполеон и Леон Гамбетта, из испанца, сицилийца — во француза, как Эредиа и Мазарини². Они навсегда остались европейцами. Тысячелетнее прошлое — точнее, тысячелетний training — оставалось общим. Этого не могло изменить даже то, что между людьми, содержащимися в слишком большом количестве в одном месте, возникали ненависть и убийственные страсти и что ненависть убивала, рядясь в различные маски. Прошлое было пестрым. В нем были кафедральные соборы и костры, рыцарские турниры и каторжный труд, но общими оставались форма букв, ноты и изображенная нотами, исполняемая на европейском языке, сопряженная с пением музыка, понятный для всех мир скрипок и виолончелей.

В эти столетия общий мир негров был другим: в нем не было букв, скрипок, соборов и костров, не было математики, астрономии, хлеба и вина, каменных домов и дверных ручек, стекла и обуви. Их и сегодня почти нет. Торговцы везли негров из Африки в отколовшуюся, но похожую на нее Южную Америку в те времена, когда в Европе давал концерты Бах, да уже и Бетховен. У них еще не было ни времени, ни возможно-

1. Имеется в виду, скорее всего, знаменитый германский военный деятель Хельмут фон Мольтке (1848–1916).

2. Бабич Михай (1883–1941) — венгерский поэт. Возможно, в семье Бабича были хорватские корни (об этом свидетельствует и фамилия “Бабич”), однако сведений об этом найти не удалось. Шандор Петефи (1823–1849) — великий венгерский поэт. Отец его был сербом, мать — словачкой. Йожеф Аттила (1905–1937) — венгерский поэт. Отец его был румыном. Гамбетта Леон (1838–1882) — французский политический деятель, в течение нескольких лет премьер министр Франции. Жозе Мариа де Эредиа (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения. Джулио Мазарини (Жюль Мазарэн) (1602–1661) — французский политический и церковный деятель, по происхождению итальянец.

сти принять, “оттрениговать” свое прошлое, своих предков. Есть китайцы, индусы, которые практикуют мышление четыре тысячи лет. Они способны постичь уравнения, которые приближают к пониманию атомного ядра. Они вычисляют возможные границы массы небесных тел, подобных Солнцу. Они размышляют над тем, можно ли уловить зеркальное отражение взаимодействия частиц меньших, чем атом. Абиссинец, который в течение долгих столетий бегаёт с копьем за антилопой, выигрывает на Олимпиаде в марафонском забеге. Ещё бы — тренироваться он начал во времена царицы Савской.

Я отвлекаюсь? Ну да, мы ведь находимся в Пафлагонии. По дороге кто-то идет. Все шансы, что это окажется негр. Страсть и страдание затуманили мир наших чернокожих собратьев. Попытаюсь развеять туман.

Я уже слышу возражения: “в миллионлетнем прошлом человека две-три тысячи лет ничего не значат”.

Значат.

Развитие может происходить самыми различными темпами. Оно может быть неслыханно медленным. Мудрые животные, вроде той рыбы, живущей в глубине океана близ Мадагаскара, за семьдесят миллионов лет ни на плавник не изменились. Есть ящерицы, которые двести миллионов лет сохраняют облик, оказавшийся когда-то удачным. Зато другие — как, например, лошадь — всего за пятьдесят тысяч лет, то есть, можно сказать, за несколько минут, изменились полностью. Мы, обезьяны, за минувшие сто тысяч лет сломя голову несемся к окончательным, роковым преобразованиям. Причем с разной скоростью развиваются различные части тела: мозг растёт подобно опухоли, с поистине адской скоростью двигаясь от способности думать едва-едва, через мгновения мудрости — до безумия. Мы уже можем довольно точно сказать, в каком месте лавинообразное размножение клеток разорвет изнутри отстающий в развитии череп.

На этой взрывоподобной стадии развития тысяча, две тысячи лет уже много значат. Сто лет — почти ничего.

Еще не прошло ста лет, как здешние негры получили свободу, а некоторые из них научились держать в пальцах перо и окунать его в чернила. Еще едва можно найти негра, которого научил бы писать его отец. Не думаю, что найдется хоть один, кому осталась бы в наследство от дедушки книга.

Освобождение! Дивное слово! Но надо быть осторожными, чтобы в приливе восторга не забыть, что это значило. Просто-напросто то, что помещик-ибер согнал во двор своих чернокожих рабов, — сгоняли их тоже негры, исполнявшие роль собак при стаде, — вышел к ним и объявил:

— Сograждане! С этой минуты вы свободны! Да здравствует свобода! Можете убираться ко всем чертям!

Негры обмерли от ужаса. А куда это — ко всем чертям? Отправляться куда-то, в стране, где даже нет дорог? Полуголыми? Где в окрестностях можно найти котел с черной соей?

— А нельзя нам остаться? — взмолились они.

— Почему же! Ради бога! С этого дня я буду вам платить жалованье. Однако и вы будете платить — за жилье и за сою с рисом. Вы — свободные граждане! Это значит, что субботними вечерами не будет вам больше бесплатной водки из сахарного тростника. Будете платить, свиньи, или подохнете от голода и жажды. Вы больше не рабы!

Есть поместья, в которых внуки свободных граждан живут до сих пор. До сегодняшнего дня они не видели денег. В течение этих восьмидесяти лет дела складывались так, что плата за дом, то есть за хижину, за сою, рис и водку всегда оказывалась хотя бы на грош больше, чем оплата наемного труда. Кошелек “свободного гражданина” был точной противоположностью того кошелька из сказки, в котором всегда оставалось на грош больше, чем сумма, которую отдавал его счастливый владелец.

Уйти? Какой смысл? В другом месте тоже ведь надо работать! Работа — вообще бессмысленное занятие. Купить землю? Негр, предки которого тоже вряд ли что-то сажали, кроме проса, здесь освоили земледелие лишь в такой степени, чтобы запомнить: перед тобой — кофейный куст, позади тебя — бич надсмотрщика. Уж скорее негр мог освоиться в городе, потому что город — вроде джунглей, там тоже никто не пашет и не сеет, однако как-то все живы! Где жить в городе? Ну, это решить легко: из досок, коробок, жестяных бидонов соорудить что-то вроде хижины нетрудно. (Англичане называют возникшие таким способом города shanty town, французы — bidonville.) Многие бывшие рабы остались на прежних местах, немногие расплзлись по карте, потом размножились. Каким-то неведомым образом, наподобие воробьев, они проникали в те европейские, чуждые этой земле изобретения, которые мы называем городами. Преувеличением было бы утверждать, что белые помогали вчерашним рабам приобщаться к культуре... но размножаться им безусловно помогали. В царстве богини Венеры у всех — training одинаково долгий.

В старом венгерском обществе были касты. Однако писатели, художники, актеры витали где-то вне каст; во всяком случае, вечерами. Примерно так же витали вне каст, когда опускалась ночь, молодые, с пряным запахом негритьянки. Дочери их (сыновья — те в глаза не бросались) — идеальные предста-

вительницы страны: негры видят их белоснежными, близкими к господам; белые ценят их за то, что нет в них той тысячетлетней зажатости, которую лишь усугубляет жизнь в рабстве. Они — куда более близкие родственницы Евы, чем дочери португальцев и испанцев, которых угнетает и ограничивает чувство извечной вины.

Белые жители Сан-Паулу поставили статую матери-негрятки, которая кормила помещичьих детей своим молоком и научила их произносить португальские слова с интонацией суахили. Следовало бы и неграм воздвигнуть монумент белому работоторговцу, который отправился на корабле за их предками, привез их, продал, чтобы у внуков в конечном счете оказалось прав больше, чем у белых, приплывших сюда позже.

Дорога перед моим участком приходит из внешнего мира и уходит туда же. Иногда прогромыкает мимо грузовик, редко-редко проедет на велосипеде полицейский... Шоферы, стражи порядка — те, кто не сеет, не жнет, но покупает сою и рис и обычно относится к тому же кругу аборигенов, несущих на своих лицах загар давних знойных лет.

Внизу, на берегу океана, мир принадлежит неграм... мир, а не земля, потому что землю они не любят. Они привыкли, что Господь — владелец земли, владыка небес, владелец колонии — ставит перед ними кастрюлю с соей. И не дома, потому что они любят такое жилье, где огонь можно разводить прямо на земле. Но дороги, улицы, базарная площадь, берег океана — все это принадлежат им; бананов, сахарного тростника здесь как раз столько, чтобы не умереть от голода. Кто ворует, потому что голоден, пусть не волнуется: ангелы заберут его в рай. Они — свободны! Можно ли быть свободнее того, кто еще никогда не платил налоги?

Здесь, наверху, на холмах, более вероятно, что идущий по дороге незнакомец происходит из одного из бесчисленных немецких племен. По-венгерски выражаясь: шваб. О немцах уже все сказано. Они сами себя описали (Генрих Манн), нарисовали (Георг Гросс), они показали себя от Пиренеев до Нарвика¹, промаршировали к гражданам Кале², в подкованных сапогах протопали по горам Кавказа. В карманах датчан ли, сицилийцев ли одинаково сам собой раскрывается складной ножик, когда речь заходит о немцах. Немцы были те, которых затошнило от тысячетлетнего тренинга, и они нацелили свои пушки на кафедральные соборы. Они писали свою исто-

1. Нарвик — город на севере Норвегии. “От Пиренеев до Нарвика” — имеются в виду фронты Второй мировой войны.

2. Отсылка к знаменитой скульптурной группе Родена “Граждане Кале”.

рию на пергаменте, сделанном из человеческой кожи. Их ледяную, убийственную ярость, как и их постыдное поражение, знает в Европе каждый камень.

Если есть кто-то, кто этого не знает, то это — крестьянин-шваб, который тащится мимо меня по дороге на воловьей упряжке, пуская воночий дым из свернутой в кукурузный лист сигары, набитой растущим за его домом табаком, и размышляет о том, сколько мешков кукурузы он соберет в этом году.

Сто, если не сто пятьдесят лет назад, покинул его предок землю бранденбургского герцога или кёльнского архиепископа. Когда? Может быть, дед определил бы это более точно: “Когда в господском лесу запрещено было охотиться на зайцев”, “Когда ты не мог уже получить бесплатно древесины даже на черенок лопаты”. Или позже? — “Когда пруссаки забирали в солдаты каждого парня”. Были такие, кто сразу садился на пароход, два-три месяца проводил в плаванье, потом принимался вырубать джунгли. Были семьи, которые приезжали, сделав небольшой крюк: сначала перебирались, на два-три поколения, в Россию, на Волынь, на Кавказ, к Черному морю, в Сибирь. После Первой мировой войны, возвратившись в Германию, они находили там совершенно чужих людей: это был народ, уязвленный до глубины души, бессильный в сознании своего поражения, отвергающий свой позор и свои преступления, ищущий ответственных за свое убожество и нищету. Те, кому пришлось повоевать в России, видел вещи уже по-другому и сразу отправлялся дальше, в Южную Америку. Здесь они встречали “старых немцев”, которые еще употребляли *der-die-das*, даже если речь шла про банан и маниок.

Кому нынче есть дело до развалин старой заморской империи? Среди семидесятилетних можно найти таких, кто повернулся к ней спиной еще после первой войны. “Подняли мы в Киле восстание, — рассказывает один такой старик, на котором еще и сегодня ладно сидит заботливо сохранный мундир. — С нас было довольно. Конец нам приходил. Подняли красный флаг. Но армия еще верила в императора, и офицеры верили. Двоих наших расстреляли. Нас в солдатских мундирах послали во Фландрию. Пока мы добрались, там уже и окопов не было. Пришли танки. Было так, как мы и догадывались: война проиграна. Побежали мы. Я знал, что такое море. Вот и бежал, пока сюда не попал”. Или: “Знаете, что такое Румплер-Таубе? Тогда все знали, сегодня уже никто об этом не слышал. Это — первый бронированный истребитель! На нем я летал. И дал я себе слово: если уцелею, до края света не остановлюсь. И вот здесь как раз оказался край света! Разве нет?” Среди пятидесятилетних еще есть такие, кто помнит

странные времена, когда радиостанции, говорившие на любимом многими языке сказок братьев Grimm, принялись рассказывать новые сказки: могучий Вождь сделал Империю великой и счастливой, он и весь мир сделает счастливым и немецким. Он и Пафлагонию включит в Тысячелетний Третий рейх. “Завтра мир будет наш”, – заявлял репродуктор, прежде чем пожелать слушателям спокойной ночи или провозгласить еще раз здравицу Фюреру... Хорошие были времена, жаль, недолго они продолжались. Радио охрипло. Туземцы забрали репродукторы. А когда можно было крутить ручку снова, радиоприемник уже забыл продолжение сказки. В конце концов, сказку забыли и люди.

Очень туманна, очень далека Германия, которую помнят здешние швабы! Мартин Лютер пишет там свою библию. Гензель и Гретель¹ жуют медовые пряники, пасхальный заяц приносит крашеные яйца. Там все говорят на языке предков.

Если ты не зулус и не шваб, то, скорее всего, итальянец.

Даже если ты обратился к нему и услышал ответ, ты не будешь столь же уверен, как я, что это действительно итальянец, ведь мне достаточно издалека увидеть как он несет с мельницы мешок с кукурузной мукой. Только на рисовых, кукурузных полях, в виноградниках за Венецией можно слышать подобные интонации. К старой мелодии здесь примешиваются неточно понятые, перебранные из арабского в иберский, используемые на Азорских островах испанские слова. Нечто подобное мог слышать Бабоч, когда вслушивался в разговоры румын в окрестностях Фогараша². Он изумлялся тому, как прихотливо изменялось, переходя из уст в уста, какое-нибудь слово, пока от семи римских холмов оно добиралось до холмов трансильванских... Если падуанское произношение Ливия уже у римлян вызывало ухмылку, то что бы они сказали, услышав классическую латынь, пропущенную через иберские наречия здесь в этой долине, где каменные топоры ботокудов прикрывает лишь тонкий слой гумуса?

Язык негров был украден весь, до последнего слова. Скудеющий лексический запас швабов еще кое-как сохраняется. У венецианцев проблем не было: они высадившись на берег, и уже понимали здешнюю речь. То, что они называли рапе,

1. Гензель и Гретель – брат и сестра, герои одной из самых известных сказок братьев Grimm.

2. Фогараш (румунский – Фэгэраш) – город в Трансильвании (Румыния). Румынский язык – как один из языков романской группы – имеет много общих черт с латынью. Михай Бабоч же по образованию – латинист.

здесь — рао, vino — vinho, sale — sal, acqua — aqua... Тот, кто разборчиво называет хлеб и соль, вино и воду, кому ясно, что такое vita, morte, amore, тот не почувствует здесь себя совсем чужим. С ними произошла странная вещь: они не заметили, сменили ли они язык или не сменили. Основным элементом римского государства была триба, сообщество связанных родственными отношениями семей. В этом плане за две тысячи пятьсот лет ничего не изменилось. Здесь, у нас, они тоже живут семейными кланами, живут мирно, то есть по праздникам бросаются друг на друга с ножами. Можно сказать, у каждого клана сохраняется еще и свой, семейный, язык. Есть семьи, которые мешают брешийский акцент с иберским, другие — кремонский с венецианским; некоторые говорят уже по-иберски, но до сих пор не заметили этого и воспринимают тосканский выговор захватившего сюда итальянского капучина как латынь.

Легко было итальянцам! Они прибыли сюда, вооруженные запасом основных слов! Нельзя сказать, что им тут не хватало зимы. Они не пекли плохой хлеб из кукурузной муки, как швабы, а варили чудесную поленту в чугунных котлах, которые приволокли с собой из долин Карста. Они лишь прошли по склонам холмов — и поняли: виноград здесь будет расти! Значит, будет и вино к поленте!

В Риме я слышал (возможно, от Кароя Керени¹), что римский лимес² почти точно совпадает с границей выращивания винограда. Римский легионер шел до тех пор, пока его сопровождал виноград. Потом останавливался. И там проводил границу, которая спустя тысячу лет стала границей римского католицизма.

Крестьянин из окрестностей Венеции едва ли слышал что-то про лимес... но линия эта хранится где-то в толще его тысячелетнего “тренинга”... Что вино может превращаться в кровь, он знает. Здесь ситуация та же, что и везде: виноградник даст и хлеб, и одежду. Даст он и еще кое-что: как прививка оберегает тебя от болезней, так виноградное вино оберегает от водки из сахарного тростника. Негр, шваб — беззащитны. Они пьют, пока не сыграют в ящик. Пьют, пока не начнет болеть каждый нерв. Пьют до галлюцинаций, до неспособности что-либо сделать, до бессвязной речи, до дрожи в руках, до съеживающего

1. Керени (или Кереньи) Карой (1897–1973) — венгерский филолог-классик, историк религии.

2. Лимес (limes) — укрепленный рубеж, возведенный на границе Римской империи для защиты от варваров.

ся желудка, до малярии. Алкоголь избавляет не только от забот, но и от мыслей. И в конце концов их мир — туман, цель их жалкой жизни — забыть.

Итальянец запьет поленту двумя бокалами красного вина, вздремнет — и идет работать.

Тысячелетний иммунитет! Я вижу то, что произошло во времена Колумба: испанцы знали алкоголь, знали уже и aqua vitae, коньяк. Пили, но выдерживали дозу. Индейцы стали беззащитными жертвами алкоголя. Они пили до умопомрачения, отдавали за алкоголь землю, жену, жизнь. Индеец знал другое: то, что с дымом табачного листа лучше быть осторожным. Случайно найдя в лесу листья табака, они сушили их. И если находился еще и огонь, закуривали длинную сигару, делали затяжку, затем бросали сигару. У них на табак был тысячелетний или десятитысячелетний иммунитет. У европейцев — не было. Они были совершенно беспомощны, страдая от симптомов никотиновой абстиненции. Через какое-то время они согласны были отдать землю, семью, жизнь, лишь бы на короткое время освободиться от мучительной нехватки вонючего дыма. Белый человек утопал в дыму, пепле, вони, тошнотворном газе, и в конце концов мир его превращался в туман, целью жизни становился дым.

Индейцев истреблял привезенный белым человеком туберкулез, конкистадоров — сифилис, для индейцев не смертельный. В истории медицины открытие Америки привело к огромным несчастьям.

Шваб, негр гибнут от яда, каким является для них крепкий ром. Иммунитет они не унаследовали. Итальянец пьет вино, и то лишь запивая еду. Он наследует землю шваба. Землю негра он не наследует, у того земли никогда не было.

Смотрю на редкие человеческие экземпляры, появляющиеся внизу, на дороге. (Смотрю также, как меняет окраску пастбище — в зависимости от того, падает ли на него тень от деревьев или от облаков, от того, как плывут низко спустившиеся облачные ключья к острому контуру Сьерры.) Я знаю, есть и такие, кто приехал сюда совсем из других мест. Каким-то образом в джунгли занесло поляков. Язык их я не понимаю, нет смысла спрашивать, когда и откуда они прибыли; знаю лишь, что даже случайно не найти среди них кого-нибудь, кто умел бы писать и читать. Язык свой они сохраняют, по-иберски никогда не научатся, разве что по-немецки запомнили несколько слов. Селение их расположено где-то в той стороне, где находится резервация ботокудов. С ними поляки как-то могут общаться; парни иногда берут оттуда жену. Польским антропологам я бы порекомендовал обратить вни-

мание на их детей, особенно на одного десятилетнего мальчика, с волосами до земли, — недавно его привела ко мне его мать. С помощью жестов и нескольких иберских, немецких, итальянских слов нам кое-как удалось понять друг друга, так что на минуту я смог заглянуть в лежащий отсюда в часе ходьбы польский мир.

— Почему бы вам не остричь мальчика покороче? С этой гривой он выглядит, как ботокудская девочка!

— Еще нельзя!

— Что нельзя?

— Стричь. Когда ему было четыре года, он заболел. Я дала обет Святой Деве Марии на небесах, что семь лет не буду стричь ему волосы, если он выздоровеет. И она вылечила его. В следующем году постригу.

— А муж что говорит?

— Нету. То есть был. Но потом я ему надоела, он купил себе двенадцатилетнюю девочку, привел домой, с ней спал. Потом она тоже надоела, он купил ее мать. Меня выгнал, я вернулась к отцу.

— Почему вы выбрали мужа ботокуда?

— Я не выбирала, он меня приворожил. Подымил своим богам, принес им жертву, и я не смогла ему больше отказывать.

— Послушайте, а ту женщину... у кого ваш муж купил?

— Так у ее мужа. Очень бедный человек, деньги нужны.

Глядя из дома на дорогу, ты не можешь знать о своих современниках всё. С ними нужно говорить! И ждать, терпеливо ждать, пока кто-нибудь из них выберется из своей хижины, пройдет по лесной тропе, спустится между скалами по склону Серы, придет ко мне, мучительно соберет свой скудный словарный запас, ошметки нескольких языков и испробует на мне какую-нибудь унаследованную от деда, ему самому уже непонятную фразу. Если мне повезет, как археологу, который сумел прочесть на глиняных обломках целую сказку, то в конце концов и я стану умнее.

Я знаю, в Бога верят все. Кто-то же должен был сотворить мир, иначе мира бы не было. Сотворил он и ангелов, но часть получилась неудачно, они стали бесами. Человек тоже вышел неудачно, потому что бес уговорил Адама съесть яблоко. Мог бы съесть банан, ананас, корень маниока, и тогда не было бы у нас никаких проблем. Но в конце концов мы попадем в Царство Небесное, где каждый день — воскресенье.

Это все, что в вере есть общего; различие в том, что Царство Небесное верующие — и “Дети Бога”, и “свидетели Иеговы” — прибегают исключительно для себя; в то время как

приверженцы “мировых” религий, ссылаясь на бесконечное милосердие Бога, допускают и другую возможность: они не исключают, что земных соседей своих, всех до единого — ну, кроме тех, кто воровал у них кур и дыни, — они однажды увидят в блаженном потустороннем мире. У итальянцев есть даже милый стишок, в котором говорится: “Бог грехи всем влюбленным, конечно, простит. Не сидеть же ему — одиноко грустить”.

Бог есть, и есть люди. Расстояние между ними — огромно. Иногда, рассердившись, Бог хлестнет по земле одной-двумя молниями. Человеку обратиться к Отцу Вечному труднее. Хорошо, что в пространстве, отделяющем человека от Господа, витают апостолы, святые, ангелы, духи! Они улаживают мелкие дела: святая Варвара утрясает с Богом вопросы насчет грома, святая Луция, если ей поставить свечку, исцеляет глазные болезни, святой Себастьян — напасть, которую называют французской болезнью. Нет такого папы, который мог бы лишить святого Георгия, победившего дракона, его величия! Паганус, язычник, обитающий в далеких долинах, сохраняет верность своим, проверенным малым богам.

Те, кто изгоняет из нашего мира Бога, даже не догадываются, как много всего они изгоняют вместе с ним, ведь следом исчезают малые и большие, добрые и злые духи, посещающие наш мир, души покойников, вся эта деятельная, невидимая, но всюду ощутимая армия, и человек оказывается стоящим на Земле в одиночестве! К кому обратится он, чтобы пожаловаться на страх смерти, на боль? Даже спиритуалист, — тот, кто понимает язык духов, — сколько угодно может жечь свои ароматные травы, вешать на шею ожерелье из собачьих зубов, готовить целебный чай из собранных в полнолуние листьев... Грустно станет в мире. Будутдохнуть коровы, подвергшиеся сглазу! Злобные колдуны, которые знают Седьмую книгу Моисея, вонзят в ствол дерева топор и станут доить его... а обычный человек тщетно попытается доить пустое вымя своей коровы... да еще и убежден будет, что молоко высосали змея или жаба...

Светит солнце. Видно вокруг далеко-далеко, в саду пылают красные циннии... но ведь придет ночь. Духи просыпаются вечером, когда сядет солнце и трупы мертвых змей и черепах вдруг исчезнут с речного берега... В такой час колдун принимает пациентов в своей лесной хижине. Лес умеет хранить тайны, хижина стоит далеко в лесу, но мне тоже верно служат кое-какие духи: они, заглянув в замочную скважину, рассказывают мне, что видели и слышали:

— Живет наверху, на Сьерре, старик один. Тридцать лет назад, а может, и того раньше — кто их считает, годы? — взял он за муж девушку-польку.

Я знаю их. Если бы полотна Рубенса старились так же, как тайный портрет Дориана Грея, грации у него были бы похожи на ту старуху-польку.

— Старик тот — туземец. Полька по-иберски не знала ни бэ ни мэ. Разговаривать они не очень-то разговаривали, но вначале любили друг друга, позже — свыклись. Понимали друг друга без слов. У них — двадцать восемь живых детей, остальные умерли. И все было бы в порядке, да когда стали они выращивать табак, женщина заболела. Не могла больше дышать.

До этого момента в истории — ничего удивительного. Табачный лист — ядовит. Кто неделями сортирует, связывает табачный лист в пучки — только так его примут на фабрике, — с утра до вечера вдыхает тонкую табачную пыль и заболевает. Даже у малых детей случаются приступы астмы, дети задыхаются.

Мужчины работают в поле, а женщины, дети разбирают и вяжут табачные листья. Малокровными становятся, не едят ничего, слюна у них течет, мучительно болит голова, но они продолжают работать, потому что фабрика зарабатывает на этом, а государство — и того больше.

Рак легких — прекрасный бизнес...

— А что врачи? Ничего. Сказали: астма. Кормили пилюлями, чем только ни кормили. Днем она еще кое-как обходилась. А ночью чувствовала, будто сотня беспощадных рук душист ее, невидимые руки зажимают ей нос, рот. Врачи ей не верили. Выписывали капли, таблетки, еще что-то, и все напрасно.

В конце концов, надоело мужу бегать туда-сюда, к врачам ходить, которые дальше своего шприца ничего не видят, только простучивают больного, а помочь ему не могут, зато с каждого больного берут отдельную плату, за свой белый халат... Плюнул он и пошел к колдуну. Колдун не из книг усвоил свою науку!

Знахарь внимательно выслушал, о чем речь. Не задавал дурацких вопросов, мол, сколько детей у женщины, было ли у нее воспаление легких, — только затягивался дымом своей свернутой из кукурузного листа сигары и кивал.

— Погоди немного. Вот наступит полнолуние, поговорю с духами. А пока положи на тарелку перед образом святого Себастьяна десять тысяч мараведи. Чтобы кадило купить. Потом придешь.

— А жена...

— Будет жить...

Спустя четырнадцать дней старик снова пришел. Колдун опять сидел в темноте, в углу комнаты, куда не доставал даже свет масляной лампы. Колдун не спросил, как дела у женщины, и не стал ждать, пока его спросят. Он задавал вопросы таким тоном, как полицейский – воришке.

– Ты ведь там живешь, у часовни Святого Доната?

– Там.

– Где раньше меннониты жили?

– Они давно оттуда ушли. Ближе к городу, там молоко дороже стоит...

– Только покойники там остались?

– Только покойники.

– На кладбище.

– На кладбище. Я...

– Заткнись. Отвечай на мои вопросы!

Мудрый человек начал спрашивать по-другому:

– Табак выращиваешь?

– Табак.

– Сушишь в печке или в сарае?

– В печке.

– А кто сложил ту проклятую печку?

Старик испугался. Испугался слова “проклятую”.

– Я.

– Ну так рассказывай, мошенник, как это было?

Тишина. Старик и рта не мог открыть.

– Будешь рассказывать?

Тишина. Полная тишина. И знахарь сам ответил на свой вопрос.

– Так я тебе расскажу, как это было, дьявольское ты отродье! Купил ты землю, а вместе с ней старое кладбище меннонитов, продали тебе дешево, потому что ты обещал, что будешь заботиться о кладбище! Так или не так было, отвечай, грабитель могил, ты, кого ждет геенна огненная? А потом ты распахал кладбище, камни принес домой, большие расколотил – и построил из них печь для сушки табака!

Нечего было ответить на это старику.

– Те, кто вонзал стрелы в святого Себастьяна, давно покинули чистилище, а ты все еще будешь жариться на углях, ты, разбойник! Ты даже каменный крест привез домой, разбил его на четыре части и замуровал их в четырех углах сарая. Духи знают! И ты знаешь!

Вот почему...

Мертвые ничего не прощают! Сегодня они жену твою душишат невидимыми руками, завтра до тебя дойдет очередь.

Старик только всхлипывал:

— Что мне делать-то?

— Пойдешь домой, разберешь печь, могильные камни отнесешь на прежнее место. Расколотые — сложишь вместе! Да следы, чтобы каждый покойник получил свой камень! Из-под сарая выраешь крест! А жена твоя пусть даже близко не подходит к табаку! Чтоб ноги ее больше не было там, где табак сушится. И не дай Бог ей его коснуться! Ты же положишь двадцать тысяч мараведи перед образом святого Себастьяна! Потому только двадцать, что в кармане у тебя больше нету. Но когда получишь плату за табак этого урожая, принесешь еще тридцать! И тогда увидишь: у жены твоей все будет в лучшем виде!

Ну разве не правда это, что колдун, который общается с духами, знает больше, чем все доктора? Женщина с тех пор близко не подходила к табаку. Еще и печь не успели разобрать, а уже исчезли руки, что душили ее по ночам. Сегодня она про болезни и думать забыла.

Кто же посмеет сомневаться, что духи вмешиваются в дела людей? “Я в духов не верю, — говорят просвещенные испанцы, — но они существуют”. Прекрасное четверостишие написал о них Лонгфелло:

All houses wherein men have lived and died
Are haunted houses. Through the open doors
The harmless phantoms on their errands glide,
With feet that make no sound upon the floors¹.

Не могу я обижаться на тех, кто ходит внизу по дороге, за то, что со своими проблемами, мелкими и большими, со своей болью они с таким доверием обращаются к всезнающим, общающимся с духами, сердито кричащим на них сквозь облака ароматного дыма отшельникам.

В запасе у них пять сотен слов; еще пятьсот они, может быть, понимают. В тысяче слов уместается не много науки, но и с двумя-тремя, наверное, можно быть мудрым. На афинском базаре тоже, должно быть, встречались такие немногословные греки... вот почему их мудрецы выражали свою мудрость

1. “Канонический” перевод этого стихотворения Лонгфелло мне найти не удалось, поэтому отважусь предложить свою версию:

В домах, где жили, умирали люди,
Всегда незримо призраки живут.
Закрой глаза — и сразу ясно будет:
Есть кто-то рядом, кто-то дышит тут.

в кратких формулах: “Все течет”, “Не полагайся ни на кого”, “Большинство людей — люди дурные”. Жители моей долины не получали в школе даже таких коротких советов — да и вообще ничего, кроме двадцати четырех букв, не получили, — так что пытаются поддерживать хорошие отношения с добрыми духами и обороняться от злых. Выкрашенные в красный цвет воловьи рога защитят дом от самого разного зла.

Из сада, издали, смотрю я на редко появляющиеся на дороге человеческие экземпляры. Кто-то из них может прийти и ко мне — если болезнь, которая его мучила, не прошла от наговора. Или если он вдруг надумал, что хорошо бы избавиться от слепой кишки. Мне нужно собрать те пятьсот слов, которые он, вероятно, поймет. Я чувствую себя как человек, который должен высечь в камне то, что он хочет сказать: тут особо не разойдешься, надо использовать как можно меньше слов, как можно меньше букв. Пользоваться отвлеченными понятиями запрещается. Нельзя упоминать предметы, которых нет здесь, в пределах видимости. Нельзя думать, что мои собеседники могут перечислить дни недели, месяцы в году, что они уже слышали о существовании бактерий или о том, что температура человеческого тела колеблется между тридцатью шестью и тридцатью семью градусами. Или что они вообще знают, что такое градус, что у них есть слова для обозначения термометра, шприца, водопроводного крана, канцелярской кнопки, почтовой марки. Думать мне можно — можно формулировать свое мнение о них, пользуясь для этого всем изобилием, всей роскошью древних европейских языков, выбирая порой одно слово из сотен тысяч. Но лучше всего, если я просто с глубоким уважением и благодарностью склонюсь перед ними: ведь они научили меня, что и тысячи слов более чем достаточно, чтобы человек мог расти, любить, воспитывать детей и, когда совсем устанет, без протеста уйти.

Тот, кто к старости научится говорить, пользуясь всего горсточкой слов, научится и тому, что есть жизнь, что есть сказка, в чем заключается твоя роль в мире, как плести словесную ткань, чтобы скрыть свои мысли, для чего нужен мир словарей. Научится чтить скупых на слова греков и молчаливого их великого мастера Диогена.

Я очень-очень чту незнакомцев, которые проходят внизу по дороге.

Легко говорить о людях вообще, куда труднее — о человеке отдельном. Положим, о хлебе мы знаем всё; об одном-единст-

венном атоме водорода, находящемся в хлебе, мы можем сказать гораздо меньше, о ядре этого атома — еще меньше. Если из тех, кто идет по дороге, один свернет сюда и войдет в мою калитку, значит, ко мне вошел совсем незнакомый человек. Самое большее, что я могу сказать о нем — это один из граждан царства святой Екатерины¹.

Но даже эта фраза вовсе не обязательно содержит чистую правду. Была ли Екатерина святой? Была ли она вообще? В хаосе даже прошлое — столь же неопределенно, как будущее.

Все утрачивает определенность, даже ранг святости. Негазисимая лампада гаснет, нимб тускнеет и тает, свеча перед статуей горит до того момента, пока статую не унесут в подвал, во тьму.

Вот, скажем, случай святого Георгия. Взял он свое копьё, вскочил на коня, выехал биться с огнедышащим драконом, спас девицу, что томилаь у дракона в плену! И — даже замуж ее не взял, как поступают обычно герои сказок; но не просто жил-поживал, пока не помер: в его честь возводили соборы, его образ был выгравирован на медной монете, на серебряной монете, причем вместе с конем. А теперь, в наш жестокий век, отобрали у него нимб и отправили его назад, в страну сказок.

А святая Филомена, она была “*virgo et martyr*”, девственница и великомученица. В катакомбах проспала она все Средневековье и значительную часть Нового времени, пока ее не возвели на алтарь. Чудес, совершенных ею, не перечесать. Сто лет она была защитницей девичьих добродетелей — и вот пришли злобные историки, нынешние адвокаты дьявола, и погасили ее святой свет, а хрупкие косточки ее обрекли на вечное пребывание в катакомбах.

Неоднозначна и ситуация со святым Николаем. Его уже лишили ранга небесного покровителя России. Уже высказываются сомнения, действительно ли воскресил он троих разрубленных на куски и засоленных в бочке юношей; более того, о нем, который своим епископским жезлом усмирлял вздыбленные бурей воды Средиземного моря и оберегал рыбаков, о нем, кости которого и сегодня еще источают чудотворную соленую воду, высказывается мнение, будто он — всего лишь поэтическое переосмысление языческого бога Посейдона.

1. Бразильский штат Санта-Катарина назван в честь святой Екатерины Александрийской.

В опасности и престиж святой Екатерины Александрийской. Добрый старец, один из отцов церкви, оставил подробное описание, как явился к ней и надел ей обручальный перстень на палец младенец Иисус; как сломали ангелы колеса, на котором царь собрался казнить Екатерину, и как ангелы явились за ней, когда она была обезглавлена. Многие живописцы отражали ее историю в чудесных картинах. Однако наше столетие — куда более недоверчивое, чем святой Фома, — все еще тщится выяснить имя того царя, и найти тот обручальный перстень, и обломки тех колес, и, не находя ничего, не верит даже словам самого святого Евсевия!

Я боюсь за нее, прекрасную покровительницу моих зеленых владений. В белом лифе, в парчовой юбке она, еще ни о чем не догадываясь, сидит, протянув свою хрупкую ручку к коленям святой Марии, на картине Мемлинга, репродукция которой прикреплена над моим письменным столом. Пока ее еще не начали преследовать. Пока я еще спокойно могу написать: “Ко мне грядет кто-то из граждан царства святой Екатерины, с младенцем на руках”.

Он идет медленно, приволакивая одну ногу. Ревматизм? Тогда он не взял бы с собой ребенка. Если он с ребенком, значит, у ребенка болит животик. Если у ребенка болит животик, значит, болит он у него уже дня три, сегодня он всю ночь орал не переставая, родители глаз не смогли сомкнуть, иначе он и сегодня бы получил сладкий чай с ромашкой.

Опытный, не первый день живущий в джунглях врач ставит диагноз на расстоянии. Тем более что более или менее точной информации у пациентов можно добиться с большим трудом.

Не так далеко от меня, в Грегориу, на склоне горы, есть больница. Сверху хорошо видно, как внизу, перед гостиницей, останавливается автобус. Тамошний врач — большой мастер дистанционного диагноза. Высунувшись в окно вместе со своим секретарем-ассистентом-санитаром и глядя, как кучка высадившихся из автобуса и явно нуждающихся в помощи людей бредет вверх по тропе к больнице, он говорит:

— Кому сегодня аппендикс вырезаем?

— Тому толстяку!

— А яичник?

— Вон той тетке, с большой сумкой.

— Понятно. Тогда программа на сегодня есть!

Пациента мог избавить от скальпеля только плохой ответ на первый вопрос осматривающего его врача:

— Сколько у вас коров?

Если коров нет, больного положат на три дня. Но самое большее, на что он может рассчитывать, это две дюжины

инъекций. Коли у тебя даже коровы нет, значит, ты — голодранец с табачной плантации, так что иди себе и таскай дальше свой чертов гнилой аппендикс! Если же пациент ответит: “Двенадцать”, никаких сомнений не остается, головная боль, изжога, желчные колики, высокое давление — всё это симптомы давно воспалившегося аппендикса, вот-вот готового прорваться. Ему не надо было даже снова натягивать штаны, его уже катили прямо по направлению к скальпелю.

Двенадцать коров — да хоть бы уже и три-четыре — показывали, что у больного имеется на один орган больше, чем необходимо. Мой достойный коллега готов был, если так складывалось, вместо яичника вырезать пока что желчный пузырь или миндалины, однако чаще всего оставался один, продиктованный интуицией, диагноз.

— Что с ребенком? — спрашиваю я.

— Слава Господу, с ним все в порядке.

Ну вот, я уже сел в лужу.

— Ребенка я так принес. Ночью ногу мне прострелили, дробью!

Я меняю диагноз. Если человеку глубокой ночью попали дробью в ногу, значит, он не пациент, он воровал кур. Таких у нас много. У меня недавно украли самого лучшего моего петуха. Шерлок Холмс уже знал бы точно, я же только подозреваю, что этот добрый человек побывал и у меня во дворе. Здесь бытует поверье: женщину на сносях сорок дней надо кормить куриным супом. Так что тот, у кого нет кур, с чистой совестью отправляется воровать.

— Очень добрый был человек, который вам в ногу стрелял! — говорю я пациенту, глядя, куда попали дробины.

— Почему?

— Будь он плохой человек, целил бы выше! Тогда бы раньше пришел конец ночной охоте на кур!

Пациент не обижается. Что тут спорить? Он лишь вздыхает. И тут я вижу ситуацию еще ясней.

— Он потому вам в ногу выстрелил, что думал, этого хватит. И так ведь ясно будет, кто побывал в курятнике, и утром он сообщит в полицию.

Пациент мой открывает свою последнюю тайну:

— Потому я и пришел с ребенком! Чтобы люди думали, будто я из-за ребенка к врачу иду!

Видя такую мудрость, я склоняюсь и принимаюсь приводить в порядок ногу человека, который украл моего петуха. Не поднимая взгляд, я спрашиваю еще:

— Ну что... будете еще петухов воровать... у меня?

— Ни за что, — обещает он.

Это — да. Это — достойный гонорар.

Тщетно учит нас Гораций: “Nil admirari”¹. Если твое призвание — быть изгнанником, а судьба — врачом, то удивление становится твоим уделом ежедневно. А чьим врачом ты являешься: мелкого воришки, живущего на краю света, или полномочного посла и министра в большом городе — это абсолютно все равно.

Никто не живет полностью в настоящем... Люди молодые значительную часть своего времени проводят в будущем; мы, старики, снова топчемся по давно пройденным дорогам, все для нас имеет смысл только в сравнении (как для старика Гёте, когда он дописывал последние строки “Фауста”), все лишь напоминает о чем-то; новое удивление — о старом удивлении...

Я вспоминаю, как это случилось, когда венгерское внешнеполитическое представительство впервые почтило меня своим доверием... Давно это было, в сорок третьем, в Риме. Война близко, голод уже занял позиции внутри Вечного Города. Медикаментов уже давно не хватало. И тут вдруг зазвонил телефон.

— Венгерское посольство. В Ватикане. Вы могли бы прийти срочно, господин доктор?

— О чем речь?

Мне же все-таки надо знать, какие лекарства брать с собой.

— Кажется, воспаление легких. Приезжайте скорее.

У меня были таблетки норсульфазола. Если верить лондонскому радио, пневмонию Черчилля тоже лечили этим лекарством. Я почувствовал себя более уверенно.

Но кто же больной?

Я пересек холм Пинчо, где на клумбах, символизируя спартанский образ жизни, вместо цветов росла капуста; по пути я ломал голову над необычной медицинской проблемой, не над тем, чем страдает больной, а над тем, кто он, этот больной, подхвативший воспаление легких. Сам посол? Барон Апор², княжеский отпрыск, был страстный игрок в гольф. Но этот вид спорта, особенно сейчас, летом, едва ли способен довести до воспаления легких; в гости же этот маленький человечек хо-

1. “Ничему не удивляйся”. Гораций. Послания.

Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться

Средство, пожалуй, одно только есть: “Ничему не дивиться”.

Перевод Н. Гинцбурга.

2. Барон Габор Апор — посол Венгрии в Ватикане в 1939–1944 гг. По всей вероятности, был из той же семьи, к которой принадлежал епископ Вилмош Апор (1892–1945), который в годы Второй мировой войны немало сделал для защиты евреев; в 1997 г. папа Иоанн-Павел II причислил Вилмоша Апора к лику блаженных.

дил только к мальтийским рыцарям¹, так как любил гулять в тени столетних семейных деревьев.

Словом, я шел и ломал голову... Голос того, кто мне звонил, был мне незнаком.

Неизвестный молодой человек открыл мне садовую калитку и сразу представился:

— Я — Йошка. Это я звонил.

Должно быть, мой взгляд выразил некоторое удивление, потому что он стал объяснять дальше.

— Меня господин посол сюда привез. Я здесь всего два месяца.

— Где больной? — спросил я.

— Сейчас увидите. — И он повел меня, но — не в направлении посольского особняка.

— Где же это?

— Там.

В конце сада не было ничего, только изгородь, а за ней — что-то вроде хлева.

— Кто больной? У кого воспаление легких?

Йошка открыл дверь хлева и сделал приглашающий жест:

— У свиньи Венгерского Королевского посольства. Всю ночь кашляла. Я доложил господину послу: наверняка воспаление легких. Он сказал, возле телефона лежат номера. Ветеринара там не было, я подумал, врач тоже знает, что такое воспаление легких. Вот и позвонил.

Свинья приняла норсульфазол и скоро выздоровела. У Йошки меня ожидал гонорар. Йошка же просветил меня насчет свиньи: посол, благодаря своим надежным источникам дипломатической информации, заранее понял, что грядут трудности с продовольствием, и, на всякий случай, купил поросенка. А поскольку ни он, ни его секретари понятия не имели, как ухаживать за домашними животными, пришлось привезти из дома Йошку. После того как поросенок однажды налетел на ничего не подозревающего полномочного представителя Чили и из этого возникли серьезные венгерско-чилийские разногласия, Йошка построил для поросенка хлев и изгородь и включил уход за посольской свиньей в сферу своих полномочий. Раз в неделю на автомобиле, на капоте которого слева развевался красно-бело-зеленый, справа — бело-золотой флаг², он отправлялся в имение князя Боргезе и привозил оттуда репу. История блестяще подтвердила предвидение посла: пациент-

1. То есть в посольство Венгрии в Италии: оно помещалось в здании, где прежде находился Орден Мальтийских рыцарей (см. сноску 20).

2. Флаги Венгрии и Ватикана.

ка моя в самые тяжелые месяцы обеспечивала потребности нашего представительства в колбасе и сале.

Похититель кур, кашляющая свинья... да, пациентура не слишком изысканная... Лучше бы я последовал примеру моего удачливого коллеги, Акселя Мунте (я еще видел его в Риме, в скандинавском клубе, он был уже практически слеп, но еще отличал обожающих его кьерринг¹ от молоденьких девушек, которых, напротив, обожал он)... Конечно, я мог бы похвастаться, что вот-де, лечил я одного епископа и одну герцогиню... Увы, Творец наградил меня такими качествами, которые закрыли мне дорогу как в дипломатию, так и на писательское поприще: перо мое болезненно цепляется за чистейшую, без примесей, правду. Что поделаешь, не будет у меня своей виллы на острове Капри... О епископе моем, об этом богобоязненном, многоученном гноме, через некоторое время выяснится, что именно он был тем, кто в древнем городе Риме, сидя под портретом Гинденбурга, выправлял бумаги, чтобы Эйхман и эйхманы могли сбежать в Аргентину... так что и он не был тем человеком, знакомством с которым я могу гордиться. Герцогиня же моя, со своей злобной собачонкой и четырьмя-пятью мильми черепашками, сидела в своей студии с разбитыми окнами и вечно рисовала собственный автопортрет в костюме паяца... нет, не была она той герцогиней, которой можно было бы, спустя годы, похвастаться.

Я сноб. Я горжусь теми знаменитостями, которые в день Страшного Суда будут витать куда выше епископов и герцогинь и к которым я, по воле доброго Случая или неблагодарной моей профессии, прикасался хотя бы мизинцем. Думая о них, я уже не смею называть свое призвание неблагодарным — я согласился бы пожертвовать Эскулапу черного петуха (тот, которого у меня украли, был рыжим).

После войны я какое-то время был врачом в Венгерской академии в Риме! Этой своей должностью я горжусь больше всего. Обошлось это мне недешево, но оно того стоило.

Вот как это случилось: директор Академии, выдающийся гуманист, пригласил меня к себе и сообщил:

— Назначаю тебя врачом Академии. Месячный оклад — пять тысяч лир. Устроит?

Если вы не математик, с вами бесполезно спорить о цифрах. Если сопоставить эту сумму с извечной мерой нашей эпохи, я бы сказал: это примерно восемь долларов. Для ужина — многовато, на месяц — маловато. Директор заметил мою растерянность.

1. Kjerring — старуха, карга (*швед.*).

— Знаю, знаю, пять тысяч — немного. Но за твою работу — достаточно. Дело в том, что никаких обязанностей у тебя не будет! Должность — чисто символическая. Будешь жить в свое удовольствие, как тот князь Ланчелотти, которому Папа поручал отвезти Золотую Розу самым добродетельным королевам¹. Утруждать себя особо не придется. Люди сюда приезжают совершенно здоровые. После медицинского обследования! Вся работа твоя будет заключаться в том, что раз в месяц придешь, поговорим с тобой на латыни, шутки ради, заберешь деньги и тут же, поблизости, на Кампо-деи-Фьори, их потратишь.

— На такие пустяки пять тысяч в самом деле достаточно. Согласен!

На трамвайные билеты этого в самом деле было достаточно. На такси — уже нет; а вызывали меня срочно и предпочитали это делать ночью. Едва ли не каждый гость, только прибыв, спешил мне представиться, обычно в том убеждении, что его все равно похоронят на Кампо Верано².

Дистанционные мои диагнозы после некоторой практики всегда оказывались правильными. Когда звонил портье: “Господин артист при смерти” или “Господин писатель ещё жив, но у него уже священник”, я спрашивал:

— Он вчера прибыл?

— Да.

— На пляже был или пиццу ел?

Услышав ответ, я делаю вывод, перегрелся господин артист или у него симптомы холеры. Я брал свой саквояж и бежал к больному. (Из великих сынов нашей родины не умер ни один.)

Рим ослеплял гостей из Будапешта. Рим освободился уже в сорок четвертом. Англичане, американцы привезли деньги, продукты, свет, надежду. Итальянцы, избавившись от фашизма, этого самого скорбного цирка истории, счастливые, танцевали, пели, наслаждались свободой. Приезжающие иностранцы в первый же вечер шли есть ПИЦЦУ — горячую пиццу с сыром, оливками, рыбой, грибами, запивали ее фрасскатти, потом ели апельсины, а потом, в великолепном настроении, шли еще куда-нибудь, чтобы отведать огромную, плавающую в томатном соусе пасташотту³... В полночь возвращались домой, в

1. Обычай раз в год вручать от имени Папы Римского Золотую Розу самым высоконравственным монархам был введен в 1084 г.

2. Одно из римских кладбищ.

3. Pastasciutta — спагетти под соусом.

Академию, а в два часа звали священника, врача, нотариуса писать завещание.

В летние дни они первым делом бежали к великому символу свободы — к морю. Наши блестящие классицисты, декламируя по-гречески Гомера, бросались в соленую воду. Ночью, с красной как рак физиономией, со сгоревшей облезавшей кожей, с дьявольской головной болью, по-венгерски проклинали свою несчастную судьбу, которая привела их в Рим. (Родился я в Кестхее, мог ли я думать, что умру в Риме”, — простонал один из них.)

На другой день с артистом, вернувшимся с берегов Леты, можно было уже разговаривать.

Но не только новые приезжие оказывали мне честь своими звонками. Полы в палаццо Фальконьери¹ выложены камнем, окна не закрываются, печей нет. Наши поэты ходили охрипшие; у пианистов скованные ишиасом ноги не попадали на педали, суставы едва сгибались. Звонил телефон, срочно надо было бежать. Пешком, на трамвае, на такси?.. А неважно, речь ведь идет о великанах венгерского Олимпа. Затратное это было занятие, не знаю даже, как я добывал деньги — но сейчас, много лет спустя, с гордостью могу сказать: бывшие пациенты мои насочиняли книг на крупную библиотеку, написали много прекрасных картин, и я с глубоким почтением склоняю перед ними свой шприц!

Счастлив врач, которому выпало лечить бессмертных!

Менее счастлив бессмертный, которого описывает его врач. Слышал я, глуп тот человек, который сделает своим наследником врача... Но еще глупее тот, который назначит его своим биографом. Черчилль и Пий XII могут подтвердить, какие карикатуры рисует на них самый важный хирургический инструмент, рука.

Я постараюсь удержаться и не вступать, несмотря на хорошие заработки, в компанию дилетантов, пишущих биографии! Даже камердинеру или горничной не приличествует рисовать портреты хозяев.

Правда, если говорить о писателях, то в этом и так нет необходимости. Они все равно непрерывно описывают сами себя и друг друга.

“Если бы Бог был против людоедства, Он не создал бы человека таким вкусным”, — сказал один обращенный в веру полинезийский племенной вождь. “Если бы Бог не хотел, чтобы я описывал своего ближнего, поэта, Он не вложил бы в мою руку перо”, — так думают мои друзья писатели.

1. Во дворце Фальконьери располагается римская Венгерская академия.

Да и захоти я это сделать, в половине одиннадцатого я все равно не смог бы описать во всех подробностях историю нашего Олимпа: идет сеньора Клейн!

Сеньору Клейн я спокойно могу описывать. Она — не из бессмертных. Более того, она — на редкость глупое, никчемное, редко и очень мало думающее существо. Не рекомендовал бы я брать ее в персонажи романа.

Однако дни мои — не романы, я нанял ее приходящей экономкой, так как в ее пользу говорят такие необычные качества: она не крадет, не врет — да и просто я не нашел никого другого. Так что она уже почти десять лет приходит ко мне... приходит, если у нее нет дел на собственном подворье. Обычно приходит она около одиннадцати, варит обед, дает и мне поесть, моет тарелку, заодно моет и мою, застилает мою постель, копается в саду, возится в курятнике, а когда наедост, уходит. Отношения у нас великолепные. Я с благодарностью смотрю, как она моет посуду, потому что не люблю мыть сам, и как застилает постель, потому что застилать постель — дело трудное. Плохо мне было бы без сеньоры Клейн!

Большое преимущество и в том, что я уже знаю историю ее жизни. (Заново она может ее рассказывать лишь моим редким гостям.) Родители ее были кавказскими немцами, после Первой мировой войны они перебрались сюда, в Пафлагонию, но перед Второй быстро отослали дочь в Германию. В Гамбурге она живой выбралась из-под развалин и вернулась сюда. По пути познакомилась с кем-то, родила от него сына, потом, от мужа, дочь и еще одного сына, а здесь, от случайного знакомого, еще одну дочь. Четверо детей остались у нее на шее. Но от отца она получила в наследство участок земли и домик. Тот, у кого есть земля, лопата, да еще и две коровы, не пропадет. А у сеньоры Клейн есть еще и должность — экономка, у меня.

Дети — это случается даже у гениальных родителей — удались не особенно. Один сын — вороватый, другой — чокнутый. Дочери — глупые, ленивые, нечистоплотные. Сеньора Клейн — мать замечательная; как здесь говорят: “мать-сова”, потому что общеизвестно: более некрасивой птицы, чем маленькая сова, нет в лесу, но родители совы считают ее самой красивой.

Писатель романист, особенно если он родился французом, ради того, чтобы привести в восхищение читателя, разберет такую сеньору Клейн на детали и соберет ее снова. Сигрид Унсет¹, поместив героиню в дебри норвежской тайги, плела бы вокруг нее бесконечную героическую поэму...

1. Сигрид Унсет (1882–1949) — норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1928).

Мне все же кажется, сеньора Клейн лучше всего подошла бы для какого-нибудь из языковых учебников Берлица¹. Она действительно произносит те фразы, о которых я всегда думал, что используют их только авторы языковых упражнений.

— Мой старший сын больше любит говядину, чем моя младшая дочь. Моя старшая дочь меньше любит курятину, чем мой младший сын. Младшая дочь любит поленту так же, как мой старший сын. Мой младший сын больше любит поленту, чем старшая дочь — говядину.

Использование сравнительных форм способствует созданию целостного представления о семье. В других случаях мы практикуем условное наклонение с различными временами глаголов.

— Если бы в прошлом году у меня были деньги, я бы купила корову. Если бы в этом году у меня были деньги, я бы купила свинью. Если в будущем году у меня будут деньги, я куплю овцу.

Точно так же мы с ней упражняемся — весьма поучительным для лингвиста образом — в отрицательных формах:

— Если бы в прошлом году у меня не было денег, я бы не смогла купить свинью. Если бы в этом году у меня не было денег...

Ах, как было бы здорово, если бы это она говорила на новогреческом! По-швабски я все это уже знаю. Ушам моим не очень старательный Творец не дал мышцу-констриктор, так что фразы эти я слушаю, напоминая себе о том, что тарелки мыть тоже было бы не очень приятно. И всегда жду, что в потоке языковых и смысловых упражнений все-таки прорвется что-нибудь из историй, услышанных у живущих вдоль нашей дороги старух.

Когда-то, давным-давно, какие-нибудь бабушки, что нынче покоятся под папоротником, наверное, рассказывали ей о пережитом. Сегодня она и сама уже — полноправный член сообщества стоящих на страже нравственности матрон. Сегодня она ахает и сокрушается вместе с тетушками, которые знают всё и не боятся амортизировать свои вставные челюсти, чтобы об этом узнали и остальные. Моя же обязанность — держать пальцы на пульсе не только отдельных людей, но и всего этого края, и я стараюсь внимательно слушать и улавливать то, что эти древние мумии вообще-то обсуждают только между собой.

1. Максимилиан Берлиц (1852–1921) — немецкий и американский лингвист, создавший эффективный метод обучения иностранным языкам. Создал ряд языковых школ в разных странах мира; на его метод опираются многие пособия по изучению языков.

(Насколько мне известно, старцы на стенах Трои тоже охотно предавались этой коллективной игре.)

— Кто ж не слышал, как это было, когда, двадцать лет назад, старшая дочь Пауля Греца забрюхатела? Отец так разозлился, что с топором гонялся за дочерью...

Поскольку в наши дни такое вряд ли может случиться, я спрашиваю:

— В самом деле?

— Так уж было заведено. Старик Борке также бегал за своей дочерью. Бегал и все кричал: я — дитя Бога! Дитя Бога!

— И что, они убивали дочерей?

— Это — никогда.

Счастье еще, что дело обстоит таким образом и швабские молодухи, если уж понесут, бегают быстрее, чем их старые отцы.

— Большой был шум. Вся долина сбежалась. Топор у Греца отняли, в конце и жених отыскался, но еще бы минута, и убил бы старик девку. А теперь у него самая младшая оказалась в таком же положении. Самая раскрасавица, как в сказке. И скрыть уже нельзя. Ее спросили: а отец-то что скажет? Поди, набросится с топором? И знаете, что она ответила? А то и ответила: с какой стати набросится, он же меня этому и научил! Вот до чего мы дошли нынче!

Пока сеньора Клейн по дороге ко мне проходит мимо дома повитухи, я уверен, что всегда буду иметь точную информацию о последних событиях — и об их последствиях. Повитуха (ее девяностолетнего отца, который служил еще в царской армии, только чистый алкоголь удерживает в жизни) знает все: взглянет лишь на ручки-ножки новорожденного — и точно может сказать, кто отец. Бывало, она знала это лучше, чем сама мать. Любая тайна живет только девять месяцев, любит говорить она.

— А сказки — вечно, — добавил бы я.

Но вот сеньора Клейн изложила все положенные на этот день душераздирающие истории о коварстве, любви и кровосмешении, и мы переходим к главной теме: что готовить. Издалека, из внешнего мира мы возвращаемся в настоящее. Настоящее требует сосредоточенности. Мы оба принимаем самое серьезное выражение лица.

Лишь тот, кто никогда не голодал, может пренебрежительно относиться к обеду! На свете много человеческих разновидностей, но есть лишь два типа людей: те, кто знает, что такое голодать... и те, кто не знает. Мы двое, сеньора Клейн и я, абсолютно ясно понимаем, в чем различие между голодом и аппетитом. Так что мы с ней можем говорить об обеде.

С сеньорой Клейн хорошо разговаривать об обеде: эта тема вдохновляет ее даже сильнее, чем истории, которыми так приятно возмущаться. В такие моменты она забывает про всех своих четверых безнадежных отпрысков, и в крохотном ее мозгу загорается лампада. Сеньора Клейн — талантливая кухарка!

На протяжении восьми лет, пока шеренга платанов медленно добиралась от дороги до моего дома, а из-под папоротника высвобождались пастбище, сад, виноградник, сеньора Клейн прокладывала дороги по изолированным друг от друга пространствам европейского поваренного искусства. Она стала настоящим виртуозом погачи со шкварками; если мой ангел-хранитель на одном из своих небесных путей занесет в мое убежище паприку, она совершит чудо и у меня на столе появятся куриный паприкаш, бараний перкельт¹, которые окружают мой невидимый дом ароматом некой дипломатической экстерриториальности. Она в совершенстве готовит клецки с салом — единственную оригинальную креацию австрийской кухни, живущей мудростью своих прежних народов-слуг. А если покинуть Центральную Европу, она шагнет к разрешению главных тайн полуострова спагетти! С тех пор как итальянцев больше не объединяет ненависть к Муссолини и его печальному войску, Италию сплачивают только нити спагетти и то, что итальянские женщины знают, когда их нужно вылавливать из кипящей воды. Сеньора Клейн тоже это знает! И она с невиданной ясностью сознаёт, что поленту надо помешивать, в массивном железном котелке, ровно три четверти часа. А если выйти за пределы чисто технических проблем, добавлю: научилась она и тому, что гость не должен дважды получать одно и то же блюдо.

Итак, сеньора Клейн поведала мне последние новости (по дороге ко мне она обычно встречается и с школьниками, а от тех узнает истории о сбежавших в Новом Иерихоне женах, о пойманных на месте преступления похитителей дынь), и мы садимся, чтобы обсудить, что созрело в саду, есть ли уже шампиньоны в подвале, остался ли еще мак среди отдельно сберегаемых ценностей, какова ситуация с брусникой и карри, хватит ли еще африканского, настоящего, кофе на чашечку после обеда. Нам важно знать, чем мы располагаем в нашем арсенале: ведь каждый день мы должны мстить за проведенные в голоде годы!

Тут я полностью солидарен с сеньорой Клейн: общих мыслей у нас маловато, тему для беседы найти нелегко, потому мы и обращаемся к общим переживаниям. Словно у членов какого-то тайного общества, у нас находят отклик и понимание не-

1. Блюдо венгерской кухни, похожее на гуляш, но с большим количеством паприки.

понятные для более счастливых людей символы: сваренная из каштановой муки и воды каша, спекшаяся коровья кровь, перемешанная с картофельными очистками, праздник, каким становится вареная заячья (кошачья, если уж совсем честно) ножка. Мы были тогда первобытные люди... Утром, выбравшись из пещеры, отправлялись на охоту. После дождя по траве иногда ползали толстые, вкусные улитки. Бывало, ты замечал втоптаные в грязь рисовые зерна: у кого-то, должно быть, лопнул пакет с рисом, а собирать не было времени! Хотя стоило бы ради горсти риса поползть полчаса в грязи! Сеньора Клейн рассказывала, как она воровала репу где-то в окрестностях Люнебурга; я же вспоминаю черный рынок живописного, старинного Рима — на Тор-ди-Нона, там, где, как говорил Дон Кихот, спустился с неба колдун на деревянном коне и где Джордано Бруно шесть лет дожидался, пока святая инквизиция сложит ему костер, — так вот, там за деньги можно было купить еду! На углу площади Святого Петра немецкий парашютист прогуливал свой пулемет, индусы в немецкой форме и с тюрбаном на голове — согласившиеся служить немцам военнопленные, с эмблемой “тигр в прыжке” на рукавах и надписью *Freies Indien* — Свободная Индия — маршировали к Алтарю Мира¹ императора Августа, а “республиканские фашисты”, веселые, пьяные, стреляли в воздух или в прохожих... но охотиться все равно надо было, все равно надо было есть. У Тор-ди-Нона продавали что-то, завернутое в газетную бумагу, сто лир! “Что это?” — “Мясо!” — “Какое мясо?” (На газетной бумаге сообщалось, что войска Центральной оси завтра вступят в Александрию.) — “Берете, не берете?” — “Беру!”

Так разговор доходил до коровы, которая набрела на мину. Старым бритвенным лезвием удалось из кровавых ошметков вырезать мышцы глотки, хрящи, голосовые связки... и найти между слюнными железами солидный кусок языка! Это был настоящий княжеский пир, даже спустя двадцать пять лет волнующее, каждой своей деталью вдохновляющее воспоминание! С улыбкой причастившихся к возвышенному людей мы обменивались с сеньорой Клейн сказками о возвращении с порога голодной смерти, а уж после этого обсуждали вопрос, с каким гарниром будем вкушать сегодня сваренные в воде корни маниока.

Иногда, перед обедом, с вершины Сьерры спускается моя добрая подруга, сеньора Кёниг. Она приносит обед сыну, когда он косит где-то поблизости, а заодно мне — масло, творог,

1. Алтарь, посвященный богине мира, был воздвигнут в Риме в 13 г. до н. э. в честь военных побед императора Августа.

иногда инжир, ананас (здесь, в долине, ни то ни другое не растет) — и, если повезет, одну-две истории.

Сеньора Кёниг, там, на Сьерре, лечит детей: она научилась делать инъекции, разбирается в глистогонных средствах; когда она появляется у меня, у нее всегда находится проблема, которую надо обсудить, всегда требуется какая-нибудь мазь, таблетка от ревматизма. Мы усаживаемся в угол подвала, называемый аптекой, и проводим консилиум. Признаюсь, из нас двоих сеньора Кёниг — врач более успешный. Практика ее идет куда лучше, чем моя. Люди, особенно женщины, ей доверяют больше: ведь она — такая же, как они. Аргументируют они примерно в таком роде: “Черт его знает, откуда взялся тут этот чудак, учился он или нет, мы понятия не имеем, а сеньора Кёниг давно выведала у него все его тайны, как пить дать”. К тому же я не умею требовать гонорар с такой высокомерной уверенностью, как сеньора Кёниг. У старого человека воспоминания подрывают диктатуру настоящего; отягощенный грузом прожитых лет, он игнорирует требования минуты. Я еще помню, как протягивала матушка конверт с банкнотами нашему детскому врачу, горбатому, бородатому, похожему на садового гнома, доброму чудодею, для обоих это был мучительный момент, они что-то невпопад говорили, и конверт исчезал как-то так, словно это было тайное донесение, передаваемое главному шпиону. Сеньора Кёниг, которая родилась здесь, здесь вырастила троих детей, не пугается таких дневных привидений. Она знает, что такое жар, что в таких случаях лучше всего пенициллин, что боль в плечах и в спине проходит от новокаина. К больному она идет и среди ночи, через лес, босая, зажигает лампадку, разводит огонь, кипятит шприц, моет руки, делает, что надо делать, и, прежде чем уйти, заявляет: расчет! Денег в доме, как правило, не бывает. Да и как попадут деньги на верхушку Сьерры, куда и птица не залетит. (Если только речь идет не о тукане с кривым клювом или о гигантской коричневой сове.) Сеньора Кёниг не огорчается: она подхватывает под мышку поросенка или бросает на плечо мешок вылущенной кукурузы. После этого она прощается и идет через лес домой, копать.

Сеньору Кёниг я считаю своей коллегой. У нее нет диплома? А у Галена, у Парацельса¹ — был? Врач — тот, кто помогает. Сеньора Кёниг — пенициллином, новокаином, какой-нибудь

1. Гален (129/131–200/217) — легендарный римский медик, хирург, философ. Парацельс (1493–1541) — знаменитый швейцарский алхимик, врач, естествоиспытатель.

противосудорожной микстурой — помогает большему количеству людей и более радикально, чем овеванные славой венские профессора моих студенческих лет. За ними — огромные библиотеки, руки у них были ничем не заняты. Сама мудрость всходила с ними на кафедру. Был профессор, который ежедневно, в течение целого семестра, читал захватывающую лекцию о воспалении легких. Больным он прописывал компресс, сердцеекрепляющее¹ и красивый розовый decoctum radices primulae veris²: секрет лечебного действия последнего объяснялся, скорее всего, звучным названием. Профессора носили головы, достойные кисти художника, и ранг придворного советника, но даже Францу Иосифу рекомендовали полагаться лишь на милость Божью. Сеньора Кёниг, когда ее зовут к больному, приклоняет лопату к стене дома и босиком идет через лес; увидев на тропинке змею жарарака³, она берет палку и убивает ее, а потом лечит больного. Вскрывать она тоже вскрывала много: свинью, барана, овцу... у нее весьма четкие представления об органах млекопитающих. Она много испытала, врачебная наука ее живо интересуется. Она — равноправная моя коллега. И это нас тесно связывает.

Что еще важнее: нас связывает общая болезнь. Мы оба страдаем мигренью! Нет ничего, что сплывало бы людей сильнее, чем общая боль.

С сеньорой Клейн нас приводит к взаимопониманию только память о давнем, нескончаемом голодании, она приводит нас к сознанию: все, что мы называем культурой, искусством, моралью, что считаем содержанием и целью жизни, есть не что иное, как послеобеденное времяпрепровождение. Члены клуба голодавших держатся друг за друга, как пожилые джентльмены, когда-то окончившие одну старую, строгую школу. В школе под названием “мигрень” нет экзаменов на аттестат зрелости. Учеба здесь продолжается до гробовой доски.

Члены Общества страдающих мигренью хранят свою тайну надежнее, чем любой франкмасон. Даже если бы они захотели, они не смогли бы рассказать непосвященным, что с тобой происходит, когда боль вонзает в мозг ледяной кинжал, когда она создает завесу между тобой и остальным миром, когда парализует мысли или усаживает их на бешеную карусель,

1. Сердцеекрепляющее — так венгры называют не только лекарство, но и стопку крепкого алкоголя. Возможно, здесь имеется в виду второе значение.

2. Отвар корня первоцвета весеннего (лат.).

3. Бразильская разновидность гадюки.

когда из всех желаний остается одно-единственное — избавиться от боли!

Страдающий мигренью знает больше, чем тот, кто голодал: он знает не только то, что стихи и музыка — это развлечения послеобеденного мира; он знает также, что сам обед — потребность бытия, лишённого боли. Человек живет лишь тогда, когда не страдает. Ничто на свете не важно, не важны даже взрывающиеся звезды — важно лишь, чтобы утихла боль.

О головной боли можно написать книгу, в которой после каждой фразы стоит вопросительный знак.

Человек страдающий, если он не может ответить, спрашивает. Если для него нет лекарств, он жалуется, рассказывает о том, что чувствует. Описание боли каким-то образом смягчает боль. Писатель рассказывает о тех, кто его обижал, и ищет читателя. Тот, кто испытал приступ головной боли, кто прошел через кошмар, сопровождаемый бессмысленным оглушительным громом, кишащий чудовищами такой мощи, как трилогия Вагнера, хочет рассказать об этом... Но выслушает его лишь тот, в ком тоже бурлила и грохотала взбунтовавшаяся часть мозга.

Англичане столетиями обсуждают погоду, не заботясь о том, что слова их не способны отклонить с пути даже облачко. Сеньора Кёниг и я с такой же увлеченностью беседуем о судорогах, о головокружении, о приступах бессилия. С пренебрежением говорим мы о слабой головной боли, которая рассеивается уже за завтраком; куда более серьезно — о боли цвета смерти, о состоянии, когда уже все — все равно. В такие моменты человек лишь смотрит на часы (у кого они есть), он способен радоваться лишь прошедшим минутам.

Подобно неизлечимым морфинистам, говорим мы о вкальываемом в вену новокаине. Бывает, что он потрясающе помогает. Бывает, когда снимает боль, но все прочее остается; бывает, что слабость, полубморочное состояние проходят, боль же остается в кристально чистом виде. Что лучше? Об этом могут высказывать мнение лишь страдающие мигренью?

Я люблю беседовать с сеньорой Кёниг, и мы не просто обмениваемся монологами, как многие из тех, кто считает, что они беседуют. У нас — общие страдания; а еще есть у нас одна общая страсть: мы собираем истории, короткие описания неординарных событий. Что значит неординарные? Рождение, любовь, смерть. Эти события прерывают тихий, монотонный процесс сева, перекапывания, жатвы. В этот процесс вмешиваются духи, боги и случай. Под холмами Пафлагонии не рождаются греческие драмы, лишь эти мелкие истории

вызывают страх и участие, нарушают течение повседневности и приносят то, что Аристотель называл катарсис.

Содержат ли эти истории правду? Бессмысленный вопрос! Несомненно, правда то, что их рассказывают. Что же касается наших старинных, покрытых патиной сказок, историки доказали, что они, эти сказки, утверждают нечто, прямо противоположное правде. Кто не знает сказку про Гензеля и Гретель? В Нюрнбергском городском архиве сохранились бумаги судебного процесса, состоявшегося в середине XVI века: некий пекарь и его жена — Ганс и Грета — решили завладеть рецептом находившейся в окрестностях города фабрики медовых пряников. Старуха, которая пекла там свои знаменитые пряники, ни за что не хотела расставаться с рецептом. Ганс и Грета схватили ее, убили и сожгли в ее собственной печи. И после этого жили счастливо — пока их не повесили.

Если даже Библия путает героя истории с жертвой, то, пожалуй, мелкие драмы сеньоры Кёниг тоже не полностью соответствуют истине... Это ни в коей мере не ее ошибка, если где-то в книге Жизни они записаны по-другому.

Иногда, если случаются трудные роды, сеньора Кёниг провожает роженицу в городскую больницу. С тамошним врачом она обсуждает свои случаи так же серьезно, как со мной. Она и поведала ему “случай”... случай, который со всей очевидностью доказывает, что мы живем в хаосе, что фатум столь же бессмысленно обрушивает всю свою мощь на человека, как это делают пасынки Солнечной системы, метеоры, врезааясь в незащитную поверхность планеты.

Семья жила хорошо. У них был дом, машина и трое детей: девочка шести лет, малыш двух лет и новорожденный младенец. Отец в комнате читал газету, двое детей играли в другой комнате, мать в кухне купала младенца. Вдруг двухлетний малыш взвизгнул. Родители бросились туда. Случилось вот что: девочка где-то нашла ножницы и отрезала братишке показавшийся ей ненужным орган. Хлынула кровь, девочка испугалась и убежала куда-то... Отец схватил мальчика, бросился к машине, но в больницу привез уже мертвого ребенка; и еще: он даже не заметил, что девочка в испуге забилась под машину, и когда он поехал, то задавил ее насмерть. Пока мать вернулась к младенцу, тот уже захлебнулся в воде. Не прошло и десяти минут с того мгновения, как двухлетний мальчик взвизгнул от боли.

Сеньора Кёниг иногда приводит с собой свою трехлетнюю дочку. Я люблю ее и воспринимаю почти как свою дочь — потому что дочери у меня нет, и еще потому, что был причастен к ее появлению на свет. Родилась она рождествен-

ским вечером, в полночь, когда солнце останавливается и время поворачивает на зиму. Ночь была жаркой; слева был ослик, справа — вол, а Вифлеемскую звезду представлял сателлит “Эхо I”¹, он пролетел точно над домом.

После полуночи явились и пастухи, они увидели свет в окне и подумали: там, где рождественским вечером горит свет, наверняка можно перекусить. Они пришли вкусить калача и медовых пряников. Мудрецов с Востока не было. В той стороне у нас живут туземцы; все их богатство — старое ружье, тощая собака да сосуд для воды из тыквы. Ничего другого они не могли бы принести. Из троих, думаете, только один был бы сарацином? Исключено².

Маленькая Ирис спала в колыбельке и была похожа на сошедшего с небес божественного младенца.

Нимба у нее сейчас уже нет; но чумазую, испачканную вареньем рожицу ее я очень люблю, и, когда она приходит с матерью, я тут же угощаю ее пурпурно-ярким виноградным вареньем. Этот цвет очень подходит к ее белоснежной коже.

Сеньора Кёниг у меня гость не заурядный. Ходить в гости на Сьерре и у ее подножия вообще не принято. Человек идет к соседу, когда несет ему что-то или что-то берет у него. Сеньора Кёниг и сама не считает, что она — в гостях. Это я говорю, что она приходила ко мне в гости, потому что она и принесла, и унесла с собой что-то; пускай лишь несколько фраз. Мысли людей внешнего мира измельчаются в ленивом, не связанном единой линией разговоре. Тот, кто говорит, даже не успевает выслушивать собеседника; в значительной части дня он произносит то, что положено ему по его роли. Жители джунглей иногда целыми днями не произносят ни слова, не издают даже звуков столько, сколько издает новорожденный, который плачет, лишь бы разрушить тишину вокруг себя. Думаю, со словесным обменом мыслями дело обстоит так же, как с некоторыми редкими элементами: нам необходим всего-навсего один миллиграмм кобальта. Примерно такое же количество, в каком мы поглощаем серебро, когда едим суп серебряной ложкой. Больше — не нужно, меньше — будет не хватать. Одного разговора, который касается общей боли и в котором вдруг, неожиданно блеснет одна-единственная общая мысль, хватит надолго. Потом может надолго воцариться тишина!

1. “Echo I” — искусственный спутник Земли, запущенный НАСА; находился на орбите с 1960 по 1968 гг.

2. В западной евангельской традиции один из пришедших мудрецов (царей) представлял черную расу.

И она воцаряется. Это еще не значит, что ничего не происходит. Писатель считает, что случается только то, что было описано. Многие вообще полагают, что происходящее — не более чем совокупность разговоров... В иных книгах не происходит ничего, кроме того, что люди разговаривают... На сцене жизнь — это когда кто-то что-то говорит. В долине события протекают в нерушимой тишине.

Намедни пришли кочевые муравьи! Они стали редкими, с тех пор как редеют джунгли! Там они размножаются в упавших, трухлявых стволах; и вдруг, в один прекрасный момент, они отправляются в путь — сотнями тысяч или еще больше, они объявляют войну всему миру, то есть тому, что они по праву могут считать всем миром: каждому насекомому, каждому пауку, каждому сверчку, который меньше или больше их, каждому червяку. Они выступают в поход.

Уже давно, еще до Мольтке, люди знали, маршировать нужно по отдельности, сражаться — вместе. Муравьи бегут длинными колоннами, их офицеры сопровождают колонны по бокам; коричневая униформа офицеров отличается от черного цвета рядовых. Колонны начинают движение одновременно, образуя целый ковер. Ковер движется уже медленнее. Муравьи обследуют каждую ямку, пробуют на зуб каждого сидящего в глубине своей норки сверчка. Сверчок прыгает в движущийся ковер; может, успевает сделать еще прыжок. Затем ковер перетекает через него, и он уже аленький узелок в черной ткани... потом он исчезает. Старые древесные стволы скрывают бесчисленное количество существ: стволы гниют не сами по себе... железные зубы времени находятся в пасти крохотных белых червячков. Маленькие муравьи пилят стволы изнутри. Черные кочевники обследуют катакомбы в древесных стволах, не оставляя в них ни единой живой частицы. Они находят даже самые мелкие муравьиные яйца, но от их челюстей не застрахована даже метровая ядовитая змея. Они раздирают ее на мелкие части: я слышал, начинают они с глаз... А может, вовсе и не начинают: ковер сразу накрывает отдыхающего или спящего неприятеля, сразу разрезает мышцы и ведущие к ним нервы, вгрызается в крохотное сердце, в длинную печень. Змея бессильна, как могучее государство против партизан. Ядовитые зубы созданы не против муравьев. После ковра на почве не остается даже трупов. Наш грозный противник, муравьи-листорезы атта, лишь в них находит своих единственных палачей. Черные кочевники пробегают по их подземным коридорам, ковер просачивается под землю, погребает под собой убегающих листорезов и течет дальше. Грядки с грибами остаются без ухода и погибают. Могучему государству атта приходит конец.

По неслышному нам свистку колонны кочевников выстраиваются вновь. Армия движется вперед. Думаю, на муравьином языке они поют что-нибудь этакое: “Wir werden weiter marschieren bis alles in Scherben fällt / Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt...”¹. Где-нибудь они снова закроют сплошным черным ковром зеленую траву.

Если они приближаются к вашей кухне, мясо, жир нужно закрыть так, чтобы не оставалось ни крохотной щелки. Пока они сражаются, человеку тоже лучше держаться подальше: мы ведь состоим из мяса! После того как они уйдут, не останется даже мухи; муха, которая рискнет приземлиться на черный ковер, дальше не полетит...

Черные муравьи — наши союзники! Они могли бы спасти нас от самого грозного нашего врага, от муравьев-листорезов. Между тем нет ничего противоестественного в том, что человек уничтожит именно кочевых муравьев: ведь человек вырубает лес, их крепость, их родину... и расширяет поля, создавая жизненное пространство для муравьев-листорезов. Хорошо, что вокруг меня еще есть леса, которые меня защищают!

Предки человека жили в лесах, на деревьях. Однажды они — необдуманно — слезли с деревьев. И поступили крайне опрометчиво. Правда, после этого они еще пару миллионов лет жили в лесу. Когда-то, не так уж и давно — к концу последнего ледникового периода, — они вышли из леса. Это также был очень опрометчивый поступок. Жизнь их пошла под откос, настал конец серебряному веку. Человек каменного века принялся уничтожать лес. Будущее наше — печально.

Муравьи текут дальше. Время идет — что ему еще делать. Время до полудня заканчивается быстро. У меня нет часов? Я бы сказал: у меня есть большие, ослепительные, гигантские часы — вся земля вращается вокруг моих часов!

Я бы сказал, я могуч, как китайский император. У него, у императора, был один, весьма достойный уважения придворный, Измеритель Теней. Изучив сто тысяч идеограмм — письменных знаков, — он узнал, куда падает, далеко ли протягивается тень от палочки, воткнутой в землю во дворе перед дворцом. Он давал команды самому Сыну Небес: он говорил, когда тому вставать, когда облачаться в желтый балахон, когда — в зеле-

1. Припев марша немецких фашистов. Перевод (автора не удалось установить) его таков:

Нет цели светлей и желаннее!
Мы вдребезги мир разобьем!
Сегодня мы взяли Германию,
А завтра — всю Землю возьмем!..

ный, когда надевать на мизинец перстень с драгоценным камнем так, чтобы порядок вещей в мире не перепутался. У меня тоже есть такой мудрый придворный: сеньора Клейн. Она знает: тени приходят из бесконечной ночи и достигают подножия деревьев, когда солнце начинает взбираться на небо; она знает, что деревья не растут до небес, а тени — растут: вечером они растут, пока не достигнут своей матери, бесконечной ночи; и она знает, до какой травинки дотягивается в полдень тень от апельсинового дерева. Тишину не нарушают ни колокола старых времен, ни свистки новых; пушечный выстрел не раскалывает день на две части, как в Риме. Послеполуденное время наступает в тот момент, когда тень вытягивается на травинку дальше. Тогда уже точно дороги назад нет — мир движется к ночи. Кто работал, тот проделал половину своей работы; кто лишь мечтал, тот тоже жил. Для обоих жить осталось на полдня меньше. В такой момент слово принадлежит матерям: они накладывают на тарелку маниок, сою, курятину.

У меня же сеньора Клейн, Измеритель Теней, объявляет: “Обед!”

Чтобы порядок вещей не запутывался больше, чем необходимо, я усаживаюсь к кухонному столу и вновь принимаю к сведению: хорошее это место!
